INSPIRIA

ПОЙМАТЬ ЗАЙЦА



18+

ЛАНА БАСТАШИЧ

INSPIRIA

Поймать зайца
Лана Басташич

Аннотация
Лана Басташич. Поймать зайца
От переводчика
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Аннотация

Куда бы мы ни отправлялись, мы всюду берем с собой себя.

Сара двенадцать лет не слышала от подруги детства ни слова. Но однажды та внезапно выходит на связь и просит Сару вернуться в родную Боснию, чтобы отвезти ее на встречу с братом, пропавшим много лет назад: просьба, в которой Сара, несмотря ни на что, не может отказать.

Давним подругам, чьи пути давно разошлись, предстоит совершить последнее совместное путешествие через половину Европы, снова пережить общие, но совершенно разные воспоминания, вскрыть старые раны и понять, что их когда-то связывало и что в итоге развело.

Лана Басташич
Поймать зайца

Lana Bastašić
UHVATI ZECA

Copyright © Lana Bastašić, 2018
Copyright © Edicions del Periscopi SL, 2020
All rights reserved by and controlled through Edicions del Periscopi, Barcelona.
This edition by arrangement with SalmaiaLit.

Перевод с сербского Ларисы Савельевой
Художественное оформление Яны Паламарчук

© Савельева Л., перевод на русский язык, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

* * *



ЛАНА БАСТАШИЧ

ПОЙМАТЬ ЗАЙЦА

INSPIRIA
Москва
2021

От переводчика

Роман «Поймать зайца» написан особым стилем и не поддается традиционному критическому анализу.

Язык молодого автора аутентичен и своеобразен. Порой он изысканный и утонченный, порой — грубый и яркий. Переводчик старался передать оригинальный стиль автора, максимально сохраняя кажущийся иногда странным порядок слов и пунктуацию оригинала. Поэтому читателя следует предупредить — Зайца поймать нелегко, будь то Заяц из сказки Льюиса Кэрролла, или Заяц с картины Дюрера, или белый кролик, которого когда-то купили две девочки.

– Я с удовольствием расскажу все, что случилось со мной сегодня с утра, – сказала неуверенно Алиса. – А про вчера я рассказывать не буду, потому что тогда я была совсем другая.

– Объяснись, – сказала Черепаха Квази.

– Нет, сначала приключения, – нетерпеливо перебил его Грифон. – Объяснять очень долго.

Льюис Кэрролл. Алиса в Стране чудес

1.

чтобы мы начали с начала. У тебя кто-то есть, а потом его нет. И это примерно вся история. Вот только что бы ты сказала, если ты не можешь *иметь* другого человека. Или употребить слово *она*? Может, так лучше, это бы тебе понравилось. Быть *она* в какой-нибудь книге. Хорошо.

Она бы сказала, что ты не можешь кого-то *иметь*. Но она была бы не права. Можно обладать людьми за постыдную малость. Только ведь она любит рассматривать себя как необходимое правило для функционирования всего космоса. А истина в том, что ты *можешь* иметь кого-то, но только не ее. Ты не можешь иметь Лейлу. Разве что только если ты ее прикончишь, вставишь в рамочку и повесишь на стену. Хотя остаемся ли мы собой и дальше, если вдруг остановимся? Одно знаю наверняка: остановка и Лейла никогда не были вместе. Поэтому она всегда смазана на всех и каждой фотографиях. Она никогда не умела останавливаться.

Даже сейчас, внутри этого текста, я чувствую, как она мечется. Если бы могла, она заползла бы

ко мне между двумя фразами, как заползает моль между двумя планками жалюзи, и уничтожила бы мне историю изнутри. Себя бы переодела в поблескивающие тряпки, которые ей всегда нравились, сделала бы ноги длиннее, грудь больше, добавила бы волосам волнистости. А меня бы изуродовала, оставила на квадратной голове всего несколько свисающих кудряшек, наделила дефектом речи, добавила хромоту левой ноги, придумала врожденную деформацию, из-за которой я всегда роняла бы карандаш. Возможно, сделала бы и следующий шаг, она способна на такую подлость — возможно, она бы вообще меня не упомянула. Сделала бы из меня неоконченный эскиз. Ты бы это сделала, правда? Пардон, *она*. Это бы *она* сделала, будь она здесь. Однако та, кто рассказывает эту историю, — *я*. Я могу с ней сделать все, что пожелаю. Она мне не может сделать ничего. *Она* — это три нажатия на кнопки клавиатуры. Я могла бы прямо сегодня вечером бросить лэптоп в безмолвный Дунай, тогда и она исчезнет, ее хрупкие пиксели вытекут в ледяную воду и унесут в далекое Черное море все, чем она когда-то была. Предварительно обойдя стороной Боснию, как графиня обошла бы нищего на пути к оперному театру. Я могла бы покончить с ней

этой фразой, так чтобы ее больше и не было, чтобы она исчезла, превратилась в блеклое лицо на коллективной фотографии выпускников школы, чтобы ее не вспоминали в городских легендах наших школьных дней, чтобы что-то смутное о ней можно было увидеть лишь в маленьком холмике земли, который мы оставили, там за ее домом, рядом с черешней. Я могла бы убить ее точкой.

Выбираю продолжить, потому что могу и хочу. Здесь я по крайней мере уверена, вдалеке от ее изощренного насилия. По прошествии целого десятилетия возвращаюсь к своему языку, к ее языку и всем остальным языкам, которые я, как насильно навязанного мне мужа, однажды в Дублине во второй половине дня по своей воле покинула. После стольких лет я не уверена, какой точно это был язык. А все из-за чего? Из-за совершенно обыкновенной Лейлы Бегич в поношенных кроссовках на липучках и джинсах, ей-богу, с цирконами на заднице. Что вообще между нами произошло? Важно ли это? Хорошие истории и так никогда не бывают про то, что происходит. Остаются лишь картинки вроде рисунков на тротуаре, годы капают на них как дождь. Может быть, надо бы сделать про нас детскую книжку с картинками. Что-то такое, что

никто, кроме нас с ней, не поймет. Но и книжки с картинками должны с чего-то начинаться. Хотя наше начало — это не только молчаливый слуга хронологии. Наше начало было и проходило несколько раз, оно тянуло меня за рукав как голодный щенок. *Давай. Давай начнем опять.* Мы непрестанно начинали и заканчивали, она проникала в мембрану моей повседневности как вирус. Входит Лейла, выходит Лейла. Могу начать где угодно. Например, в парке святого Стефана в Дублине. Телефон вибрирует в кармане пальто. Неизвестный номер. Тогда я нажимаю на эту проклятую кнопку и говорю «Да?» на языке, который не мой.

«Алло, ты».

После двенадцати лет полной тишины я снова слышу ее голос. Говорит быстро, будто мы только вчера расстались, без всякого желания навести мосты через разрыв в знании фактов, в дружбе, в хронологии. Могу произнести только одно-единственное слово: «Лейла». Она, как обычно, не закрывает рта. Упоминает ресторан, работу в ресторане, какого-то типа, чье имя я слышу впервые. Упоминает Вену. Я и дальше произношу только «Лейла». Ее имя на первый взгляд было безобидным — крохотный стебелек посреди

мертвой земли. Я вырвала его из своих легких, думая, что это ерунда. Лей-ла. Но с этим невинным растением из жидкой грязи вылезли длинные и толстые корни, целый лес букв, слов и фраз. Целый язык, похороненный глубоко во мне, язык, который терпеливо ждал этого короткого слова, чтобы расправить свои окостеневшие конечности и встать, будто никогда и не спал. Лейла.

«Откуда у тебя этот номер?» — спрашиваю я. Стою посреди парка, замерла прямо под дубом и не шевелюсь, будто жду, что дерево подвинется в сторону и даст мне пройти.

«Сейчас это не важно, — отвечает она и продолжает свой монолог: — Слушай, ты должна приехать за мной… Ты меня слышишь? Слабый сигнал».

«Приехать за тобой? Не понимаю. Что…»

«Да, приехать за мной. Я по-прежнему в Мостаре».

По-прежнему. За все годы нашей дружбы она ни разу не упомянула Мостар, мы с ней никогда там не бывали, а теперь он вдруг представляет собой неоспоримый, общеизвестный факт.

«В Мостаре? Что ты делаешь в Мостаре?» — спрашиваю я. Продолжаю смотреть на дерево и мысленно считаю годы. Сорок восемь времен

года без ее голоса. Знаю, что я куда-то отправилась, та моя траектория была связана с Майклом, и занавесками, и аптекой… Но Лейла сказала «Стоп» — и все остановилось. Деревья, трамваи, люди. Как усталые актеры.

«Слушай, это длинная история, Мостар… Ты ведь по-прежнему за рулем, да?»

«Да, за рулем, но я не понимаю, что… Тебе известно, что я в Дублине?» Слова вываливаются у меня изо рта и прилипают к пальто, как репьи. Когда я в последний раз говорила на *этом языке*?

«Да, ты очень важная особа, — говорит Лейла, уже готовая поставить под сомнение ценность всего, что могло со мной происходить в ее отсутствии. — Живешь на острове, — говорит она, — и, должно быть, целыми днями читаешь какую-нибудь скучную книжищу, и ходишь на бранч со своими умными друзьями, да? Супер. Ладно, слушай… Ты должна приехать за мной как можно скорее. Мне нужно в Вену, а эти здешние мартышки забрали у меня права, и всем плевать, что я должна…»

«Лейла». — Я пытаюсь прервать ее. Даже спустя все годы мне совершенно ясно, что происходит. Это та самая ее логика, соответственно кото-

рой, если кто-то толкнет тебя на лестнице и ты покатишься вниз, виновата будет гравитация, а все деревья посажены для того, чтобы она за любым могла попи́сать, а все дороги, какими бы кривыми и длинными они ни были, имеют одну точку пересечения, один общий узел — ее, Лейлу. Рим — это ерунда.

«Слушай, у меня нет времени. Я действительно не могу попросить никого другого, все отбрехиваются, что заняты, правда, у меня и нет здесь особо много знакомых, а Дино не может вести машину из-за колена…»

«Дино — это кто?» «…так что я прикинула, если ты улетишь в Загреб еще в эти выходные, а там сядешь на автобус, правда, Дубровник был бы лучшим вариантом».

«Лейла, я в Дублине. Я не могу просто взять и поехать за тобой в Мостар, а потом отвезти в Вену. Ты в своем уме?»

Она некоторое время молчит, воздух вырывается из ее ноздрей и бьется о телефон. Кажется, будто терпеливая мать всеми силами борется с желанием влепить своему ребенку оплеуху. После нескольких минут ее тяжелого дыхания и моего наблюдения за упрямым дубом она произносит только два слова: «Ты должна».

В этом нет никакой угрозы. Звучит скорее, как когда врач говорит, что ты должна бросить курить. И меня не злит ни это ее «должна», ни то, что она мне позвонила через двенадцать лет и даже ни разу не спросила «как дела», ни то, что она посмеялась над целой жизнью, которую я придумала себе за прошедшее время. Впрочем, это и была классическая Лейла. Но то, что где-то в ее резком голосе скрывалась абсолютная уверенность, что я соглашусь, что мне некуда деваться, что моя судьба была решена до того, как я ответила на этот проклятый звонок, меня унижает.

Я прерываю связь и сую мобильник в карман. Даже боги, какими бы примитивными и бессмысленными они ни были, дают право на свободу воли. Смотрю на дерево и медленно дышу, я больше не верю этому воздуху. Я загрязнила его *своим языком*. Пересказываю сама себе всю сцену так, как преподнесу ее Майклу, когда приду домой. Представляешь, скажу я, одна моя подруга из Боснии звонит мне сегодня и спрашивает… Подбираю слова на чужом языке, вывязываю их и перекручиваю петли таким образом, чтобы ни лучик света не смог пробиться сквозь плотную вязку. И как раз когда мне кажется, что я знаю,

как это пересказать, как лишить Лейлу всякого значения, когда мне кажется, что вдалеке проехало несколько автомобилей, что на периферии зрения люди снова задвигались, когда ветер вернулся в крону дуба, она звонит мне опять.

«Сар, послушай меня. Прошу тебя», — говорит она тихо. Мое имя, деформированное звательным падежом, о существовании которого я уже забыла, звучит как эхо из заброшенного колодца. Я ее знаю. Сейчас она снова безобидная веточка, снова кто-то, чьи руки настолько деликатны, что вы бы не побоялись передать ей на хранение и собственный мозг.

«Лейла, я в Дублине. Я здесь живу, не одна. У меня есть обязанности. Я не могу ехать в Мостар. О'кей?»

«Но ты должна».

«Тебя не было десять лет. Ты не отвечаешь на мейлы. Не звонишь. Насколько мне известно, ты могла бы быть уже где-то похоронена, в какой-нибудь пиздоебине. В последний раз, когда мы с тобой виделись, ты предложила мне валить к ебеной матери».

«Я не говорила тебе, чтобы…»

«О'кей, супер. Без разницы. И тут вдруг ты звонишь и ждешь, что я вдруг…»

«Сара, Армин в Вене».

В ветвях надо мной все птицы превратились в камень. Земля у меня под ногами рыхлая, я врасту в нее прямо перед дубом, которому будет легко от меня убежать. Чувствую на себе взгляды двух ворон с ближайшей березы. Почти надеюсь, что они спикируют мне на голову, выклюют глаза, оторвут уши и язык. Но они не могут — окаменели.

«Что ты сказала?» — спрашиваю ее. На этот раз потише. Боюсь, что ее голос исчезнет, испугается и убежит от меня как таракан.

«Армин в Вене, — говорит она снова. — Ты должна за мной приехать».

Я захожу в первый же Старбакс и через Интернет покупаю билет до Загреба с пересадкой в Мюнхене за пятьсот восемьдесят шесть евро.

[Она никогда не хотела говорить о своем брате. Но той ночью что-то было иначе, что-то в ней сломалось, как ломается жидкая изгородь из прутьев. Это был первый понедельник, после того как мы получили дипломы, одна из тех недель когда для тебя должна начаться жизнь или хотя бы иная фаза жизни. Я все выходные ждала, что буду чувствовать себя как-то по-другому. Ничего

не произошло. Как будто кто-то продал мне дрянную травку.

Мы сидели на диване в ее комнате. До нас доносилось тягостное мяуканье уличных кошек.

«Двадцать марок, — сказала она, проведя рукой по коричневому плюшу, который вызывающе протянулся между нами. — Пришел человек, заново перетянул».

«А раньше-то он был какого цвета?» — спросила я. Я в сто какой-то раз, сидела у нее в комнате, но не могла вспомнить никакого не коричневого варианта цвета дивана.

«Да бежевого же, — ответила она. — Неужели не помнишь?»

Мне это казалось недопустимым: она и бежевый. Она никогда не была персоной, сочетающейся с бежевым. Такие люди тихи и обыкновенны. Я не решилась спросить у нее о цвете тех пятен, которые, я в этом уверена, за несколько лет, что я у нее не бывала, пачкали тот слишком светлый диван. В основном я молчала. Я была вся на нервах. После того дня на острове она перестала со мной общаться. Три года университета на факультете без единого слова. А сейчас я вдруг сидела на ее диване, сломалась при первом же приглашении.

Кажется, мы пили вино, хотя мне не хотелось ничего алкогольного. Лейла налила мне полный бокал и сказала решительно, но все же нежно: «Пей». И я пила. Вино или что-то другое, не помню. Знаю только, что ее черная голова на моем плече была неожиданно тяжелой. Я говорю «черная», потому что для меня она была и осталась взъерошенной вороной из средней школы, несмотря на всю перекись водорода, что она в последние годы тратила на камуфляж. Помню, что в ее глазах подрагивало отражение маленького окна, за которым была разлита густая темнота. Помню и то, что ее красивый брат смотрел на нас с единственной фотографии в комнате. Время сделало бледными его щеки, небо и купальные шорты. И что еще? Каким был ковер? Да и вообще, был ли у нее ковер? Свисала ли с потолка отвратительная лампа с фальшивыми черными жемчужинами, которую она когда-то купила в Далмации? Или она от нее давно избавилась? Откуда я знаю? Я не могу объяснить себе Лейлу тем, что опишу ее комнату. Это то же что описывать яблоко с помощью математики. Помню только ее голову и то, что намазанный лаком ноготь большого пальца высовывался из дырки в нейлоновом чулке… Помню ее брата. Не будь

той фотографии, не было бы и жизни в этой комнате.

Ее мать стучала кастрюлями в кухне, с которой мы делили лишь кусочек стены. Думаю, я сказала какую-то глупость, нечто, что в тот момент показалось мне остроумным: «Неужели мама готовит тебе еду, ты что, еще маленькая?» — или что-то вроде того, и Лейла добродушно засмеялась, я, впрочем, сама была в такой же ситуации. Таким, как мне кажется, тогда был город: наполненный взрослыми детьми и седыми, сгорбленными матерями.

Почему я вообще пришла к ней той ночью? Я хотела ее проигнорировать, не бежать, стоит ей свистнуть. Но в то утро на холодных плитках ванной комнаты она нашла своего белого зайца мертвым. Я говорю «холодных» — кто-нибудь однажды это исправит. Скажет, что я там не была и их не трогала, откуда мне знать, что плитки были холодными? Но я кое-что знаю о ее зайце и ванной комнате, и пальцах, вечно таких горячих, что казалось, их температура близка к тридцати восьми по Цельсию. Знаю, что, скорее всего, она была в тапочках с меховыми помпонами абрикосового цвета и что присела на корточки, чтобы дотронуться до его тельца. Знаю

и то, что она подумала «тельце». Не «труп». Вижу пятна на ее шишковатых коленях.

У него никогда не было официального имени. Он был Заяц, Зеко или Зекан, в зависимости от Лейлиного настроения. Помню, мы его закопали во дворе, за ее домом, под старой черешней, которую она называла радиоактивной. Это был первый раз, когда я хоронила какое-то животное.

«Неправда. А твои черепахи?» — спросила она меня почти с отчаянием. Помню, что руки у нее были полны мертвым Зайцем и как она его держала — как драгоценное приданое — в голубом пакете для мусора.

«Черепахи не считаются, — сказала я. — Сама знаешь, какими они были, пять-шесть сантиметров в диаметре, как оладьи. Вряд ли мне это зачтется как стаж могильщика».

«И что нам делать?»

Сосед дал нам лопату, подумал, что мы сажаем клубнику. Это был небольшой инструмент, для взрослых — просто игрушка. На то, чтобы выкопать достаточно большую яму, ушло лет сто. Я хотела ее упрекнуть за размеры покойника, но в тот день проглотила свои нравоучения. Лейла казалась какой-то маленькой и напуганной, будто слишком рано выпавшей из гнезда.

Мы опустили пакет с Зеканом в небольшую могилу. Мелкие корни, пробившиеся из земли, обвили мертвое тельце своими тонкими пальцами, а потом потянули в глубину, в свою холодную утробу. Когда все было кончено, я положила сверху на землю два белых камня, чтобы обозначить место захоронения, на что она, как и следовало ожидать, закатила глаза.

«Давай, скажи что-нибудь», — проговорила она.

«Что сказать?»

«Все равно. Ты поставила ему памятник, теперь нужно сказать несколько слов».

«Почему я?»

«Ты поэт».

Какая подлость, подумала я. Один довольно жалкий сборник стихов — и я уже должна произносить прощальные речи над отравленными зайцами. Но, приняв во внимание ее потерянный взгляд и белые руки, так горестно свободные от Зекана, я кашлянула и, тупо уставившись на два тихих камня, вытащила откуда-то, из какой-то прошлой жизни, подходящие строки:

Говорите тихо и кратко.
Чтобы мне вас не слышать.

Особенно о том, как умен был я.

Чего же я хотел?

Мои руки пусты, печально лежат на покрывале.

Раздумывал ли я о чем-то?

На моих губах сухость и отчужденность.

Испытал ли я что-нибудь?

О, как сладко я спал!

Тогда, сдается мне, она заплакала, а может, не заплакала — я не уверена. Было очень темно, может ее глаза просто блестели в уличном свете. Если она это прочитает, разозлится, скажет мне, что я сентиментальная корова, что она никогда не плачет. Как бы то ни было, стихи сделали свое дело, поставили точку в неоконченной главе не хуже, чем это делает какой-нибудь университетский диплом.

Меня мучила совесть из-за того, что я вынудила ее подумать, что эти стихи мои. Но в тот момент, с мертвым Зайцем под землей и Лейлой над ней же, любое авторство не имело для меня особого смысла. Стихи были как сбежавшие от алтаря невесты, освободившиеся от Алваро де Кампуша — который, впрочем, никогда и не

существовал, так же как и та наша клубника, — освободившиеся от Лейлы и от меня, от горстки холодной земли с двумя каменными глазами, свободные в какой-то момент быть, а уже в следующий нет.

Не могу вспомнить, вернули ли мы соседу лопату, сказали ли ему что-нибудь. Знаю только, что позже в тот же вечер ее голова тяжело лежала на моем не приспособленном для этого плече и что я прокляла и себя, и это плечо, и коричневый плюш, который затвердел между нами, как асфальт. Мы смотрели на ее бледного брата между четырьмя полосками бумажной окантовки, а ее мать громыхала на кухне.

Лейла сказала: «У нее и сейчас есть фотография Тито. В кладовке, за банкой с маринованными овощами. Если посмотреть внимательно, виден его глаз между двумя перцами».

Я улыбнулась, хотя мне было не до смеха. Мне всегда были невыносимы эти неслышные ностальгирующие люди и непробиваемый пузырь, в котором они проживают свои лучшие, более счастливые версии жизни в какой-то стране, где всегда растет клубника, а зайцы не умирают. В стране, о которой они могут твердить, что она была само совершенство, потому что у нас они

отняли возможность проверить это утверждение. Ее мать я в своей жизни гораздо чаще слышала, чем видела. Так же было и той ночью. Спустя некоторое время кастрюли замолкли, как отложенные в сторону тромбоны.

Лейла посмотрела на книги, лежавшие на полке рядом с фотографией ее брата, потом закрыла накрашенные глаза и тихо сказала: «Я смотрел на него, как он умирает».

Я непонимающе глянула на нее. Она открыла глаза и, заметив растерянность на моей физиономии, улыбнулась и сказала: «Одно очко мне». Увидев, что я по-прежнему не понимаю, она закатила глаза и холодно добавила: «Сейчас он раздулся, как труп животного». Тогда до меня дошло. Это было нашей с ней игрой: одна выплевывала забытую цитату из какой-нибудь книги, которая в тот момент оказывалась в поле зрения, а другая должна была сказать ее название. Правда, мне было непонятно, почему она вдруг вспомнила этот почти забытый ритуал. Мы играли в цитаты в начале учебы, когда еще думали, что достаточно сказать что-то веское и люди подумают, что ты их понимаешь. Но мы больше не были теми нами. Факультет был вне наших жизней, для меня — как любовник, кото-

рого я четыре года переоценивала, для нее — как болезненная вакцина, о которой другие сказали, что она необходима. *«Сейчас он раздулся, как труп животного»* больше не было той же фразой, так же как и мы не были теми же соплячками. «Слова и так пусты», — сказала она мне однажды перед экзаменом по морфологии. Но в тот вечер слова ей были необходимы, хотя бы как плацебо, поэтому я без лишних обсуждений подчинилась правилам игры.

«Нет, он не уменьшился, — прошептала я, — холодный и пустой, он выглядит гораздо бóльшим, чем раньше».

«Мрачный», — сказала Лейла.

«Что?»

«*Мрачный* и пустой».

«Да… Мрачный и пустой. *Путевые заметки*».

Когда я предложила удовлетворительный ответ, а она в знак одобрения кивнула, я закрыла глаза и сжала ее теплую руку в надежде спастись от коричневого плюша и его шарлатанского бежевого прошлого. Меня успокоило, что она по-прежнему была способна играть, воскрешать цитаты из каких-то книг, делая вид, что их не любит и делит их со мной, словно не игнорировала меня целых три года. Я не сердилась. Я была рада,

что она по-прежнему верит в красоту, после того как стала свидетелем смерти, растянувшейся на плитках пола в ванной.

Тогда она в первый раз задала мне тот ужасный вопрос.

«Когда ты напишешь какое-нибудь стихотворение про меня?»

Я открыла глаза и ровно села на диване. Я знала ее со времени, когда у меня еще не начались менструации, тем не менее вопрос застиг меня врасплох. «Я уверена, что ты их и сейчас пишешь. После той твоей болезненной книги. Ведь так? Признайся», — сказала она, мгновенно вогнав меня в стыд, как будто писать стихи — то же, что спрятать бутылку с ракией в бумажный пакет и переночевать в подъезде.

«Пишу», — ответила я. Было уже больше десяти. Умолкли кастрюли на кухне. Я знала, что после похорон нужно было пойти домой сразу. После того как зароешь чьего-нибудь домашнего любимца, не может произойти ничего хорошего.

«И, почему бы тебе не написать какое-нибудь стихотворение обо мне? Чего мне не хватает?»

«Я тебе кто, — спросила я ее, — ебаный Балаше-

вич[1], что ли?»

Позже мне из-за этого было неприятно. Нужно было сказать «да, конечно», — она бы и так через несколько дней начисто забыла, что спросила меня, или посмеялась бы над своей глупой просьбой и добавила, что скорее бы умерла, чем стала разыгрывать из себя чью-то музу. Однако я не могла сдержаться. Я далека от того, чтобы считать свои стихи хорошими, но отсутствие Лейлы в той части моей жизни — точнее, ее полное игнорирование всей этой затеи, включая продвижение, рецензии и премии, — где-то внутри причиняло мне боль, как опасный осколок. Даже если бы она сегодня похоронила собственную мать, я бы не позволила ей унижать меня таким банальным способом. Уличный попрошайка мог спросить у меня то же самое, и я бы поверила в невинность просьбы. Но не она. Жизнь для Лейлы была бешеной лисицей, которая приходит ночью красть кур. Писать о жизни для нее не значило на следующий день таращить глаза на изуродованные останки курицы, не имея возможности когда-нибудь застигнуть хищника на месте преступления. Кроме того, мне кажется, она никогда не понима-

[1] Сноски: 1

Джордже Балашевич — популярный сербский поэт-песенник. *Здесь и далее — прим. ред.*

ла, почему кто-то в здравом разуме может сесть и писать стихи. Тем более почему я, там, где мы были, в то время, когда мы там оказались, вообще захотела чего-то такого. И сейчас, после всего этого, после многолетней политики недооценки единственного минимально успешного предприятия в моей в основном невпечатляющей жизни, она сидит на своем фальшиво-коричневом диване, со своими фальшиво-светлыми волосами и меня оскорбляет. Нет, не выйдет.

«Еб твою мать, Сара, — сказала она и встала. — Я пошутила».

Она не злилась, просто устала. Спросить Лейлу — поэзия не стоила даже ссоры. Подошла к полке, взяла фотографию своего брата и протерла стекло в рамке краем рукава.

«И он тоже не захотел нарисовать меня», — сказала она и вернула фотографию на место. Посмотрела на меня, выкатив глаза, будто что-то вспомнила.

«Я тебе никогда не рассказывала, как он прикоснулся к Дюреру?»

Я продолжала молчать на ее диване, вдруг став совершенно ничего не значащей, вроде тапки, которая полностью утрачивает смысл, если теряет пару. Ей явно требовался не собеседник,

а лишь ухо, чтобы полностью выпотрошить себя, как животное перед препарированием. Сказала «он». В первый раз после того ужасного дня на острове.

«Я этого не помню, — продолжала она, — я была слишком маленькой. Но мама рассказывала мне эту историю тысячу раз. Мы были в каком-то музее, Армину было семь или восемь лет, мне кажется. Не знаю. Короче, он приподнялся на цыпочки и прикоснулся к картине. Именно так… пальцем к картине, знаешь? И тут начался настоящий цирк: завыла сирена, сбежались смотрители, старики перепугались…»

Я не знала, что сказать. Впрочем, что любой мог бы сказать в этот момент? Лисица уже убежала со двора, я не успела ее схватить. Слова вдруг показались мне *лживыми*, испорченными, как засохшая пудра на изборожденном морщинами лице старухи.

«Важно, что Зеко получил эпилог», — сказала она и пожала плечами, поставив печать на всей этой истории о смерти, поэзии и охраняемых картинах. Она опять стала обычной девушкой — такой, которая не станет добиваться девятки на экзамене, которой приятнее всего попивать пиво и не строить из себя умную. Блондинка в пла-

стиковых тапках, запросто способная шутить по поводу мертвого зайца, которого, я это прекрасно помню, когда-то любила больше, чем людей. Девушка, которая не знает, что Вена *раздулась, как труп животного*, и которая не рассказывает о своем брате. Чья-то хрупкая тупая муза. Она была мне невыносима.

Я сказала, что уже поздно и мне пора домой. Наверняка и ее мать уже легла. Некоторое время она смотрела на меня. Ее взгляд блуждал по моему лицу так, словно, если она достаточно долго будет меня рассматривать, я передумаю. Останусь, буду пить ее вино, напишу ей стихотворение — нужно только немного натянуть поводок. Когда она поняла, что я действительно решила идти домой, взгляд соскользнул с моего лица, как покрывало с памятника. Она подошла к двери, широко открыла ее и сказала, мне кажется, я почти в этом уверена, хотя позже она утверждала, что все было не совсем так: «Давай, вали к ебеной матери».

Я допила вино и вышла из Лейлиной комнаты. Слишком быстро добралась до дома, поэтому пошла по улице дальше, словно не узнав собственную входную дверь. Гуляла я долго, слушала сверчков в запущенных кустах и спрашивала себя, где в ту ночь прятались кроты и правда ли то,

что говорят о больших ядовитых змеях возле реки. Я гуляла, пока все церкви не прозвонили пять часов и, кажется, еще долго после этого. Гуляла до тех пор, пока двенадцать лет спустя не дошла до парка святого Стефана в Дублине, вытащила из кармана телефон и произнесла ее имя. Да, я имею в виду *твое* имя. Тогда я остановилась.]

2.

Я вошла в квартиру с пустыми руками. Нужно было купить новые занавески. И еще что-то, что я забыла. У двери меня ждали его серые тапки. У одной из них начала отрываться подошва. Тапка открывала и закрывала рот на каждом шагу, как будто собирался что-то сказать, но никак не могла вспомнить что. Это был тридцать пятый день рождения Майкла, в тот год я подарила ему эти тапки и какую-то пластинку, не могу вспомнить какую. Мы и торт купили — «Красный бархат» — и шутили, что уроним его по пути домой. Мы остановились перед аптекой, известной только тем, что больше ста лет назад один литературный герой купил в ней мыло.

«А может, нам пожениться?» — спросил меня Майкл.

«Не смеши меня», — ответила я. Открыла коробку и сунула пальцы в холодное губчатое тело красного торта. Он был вкусным.

«С днем рождения», — сказала я ему. Тем дело и кончилось, идея брака была отвергнута перед той аптекой как неэффективная таблетка. Че-

рез несколько лет мама перестала спрашивать. Она приезжала к нам только один раз. Спала со мной на большой кровати, а Майкл ютился на диване. Просыпалась мама в семь утра и начинала греметь на кухне. Я знала, что она думала: что я срамлю ее перед всем белым светом. Вся Ирландия узнает, что мать не научила меня убирать в доме. Но я знала и что думал Майкл: он смотрел на огромное тело матери и спрашивал себя, передается ли это генетически. Она всегда была полной, но после папиной смерти ей удалось совершенно изменить свой вид к худшему. Я думала о ее светлых волосах, которые падали мне на лицо, когда она по вечерам меня убаюкивала. Сейчас от волос осталось всего несколько тонких прядей вдоль толстых щек, которые переходили в шею. Помню, как Майкл мне сказал: «У твоей мамы такие красивые глаза». Только это и осталось, что он смог похвалить. А я его за это возненавидела. Мне хотелось обнять и защитить свою большую мать от его взгляда.

Когда она отбыла домой, мне полегчало. Я купила ей огромную кружку с изображением клевера, хотя мать никогда не пила пиво, и пепельницу с ирландским флагом, хотя она никогда не была курильщицей. Она села в самолет и вернулась

в Боснию. Через некоторое время она перестала мне звонить. Мы с Майклом вернулись в свою нормальность. Он — писать коды, я — переводить. Больше никто не вспоминал ни брак, ни мою мать.

Наш первый секс продолжался около пяти минут. Майкл был пьян, я устала, а его пес скулил в коридоре. На улице горланили разнузданные дублинцы. Майкл заснул в тот же момент, как стянул презерватив. Я пошла в ванную. Я впервые была в его квартире. Позже она станет нашей квартирой, то есть и моей, хотя, в сущности, она никогда не была ни тем, ни другим, а принадлежала коренастой ирландке лет шестидесяти с небольшим, которая с Майклом флиртовала, а меня игнорировала. Но в ту ночь после пяти минут секса это была только его квартира. Мне неизвестны ее углы, я ударяюсь большим пальцем ноги. В ванной я открыла зеркальный шкафчик и нашла столько анальгетиков, что хватило бы усыпить лошадь. Майкловы мигрени. С ними я познакомлюсь позже. Врач велит ему меньше смотреть в компьютер. Мы разразимся хохотом. Но в тот вечер это была просто гора незнакомых таблеток в ванной какого-то типа, с которым я познакомилась прошлой ночью.

Я переспала с наркоманом, подумала я. В этом я ему признаюсь примерно после четвертой или пятой встречи. Ему это покажется самым смешным на свете.

Сколько я просидела в той ванной? К одной из плиток была прилеплена силиконовая уточка. В сливном отверстие полно рыжих волос. Мне было больно между ног. Я взяла у него две таблетки и воспользовалась его полотенцем. Думала, ночь будет лучше, все к тому шло. Тип умен. Начитан. Остроумен. Слегка чокнутый. Любит Коэна. А потом все было готово за пять минут, после чего умный тип заснул. Я сидела в чужой ванной, не зная, что однажды она станет моей, и думала обо всех дублинцах, с которыми я спала с тех пор, как сюда переселилась. В моей голове промелькнули все их презервативы. Небольшой бассейн зря растраченных ирландских генов. Как я с ними покончила? Так же, как с этим, подумала я. Выйду из ванной и вызову такси. Номер телефона я ему не давала, не станет мне надоедать.

На стиральной машине — его грязные вещи. Я вытащила из кучи футболку с Дартом Вейдером и приложила к себе. Она была огромной и воняла гашишем. Вернула ее в груду и вышла из ванной, полная решимости одеться и вызвать

такси. Нашла только джинсы и один носок. Его пес внимательно наблюдал за мной, похоже, я была не первая, кто тыкался по углам квартиры в поисках выхода. Я искала рубашку в гостиной, где тогда был другой стол, не тот, что мы спустя несколько лет будем собирать вместе. В тот момент я просто хочу найти свою рубашку, убраться оттуда и сделать вид, что ничего не случилось. Он храпит в другой комнате, до него и не дойдет, что я ушла. А второй носок может оставить себе как сувенир.

Рубашку я нашла рядом с телевизором и натянула на себя через голову, соображая, какое такси вызвать, злая, что снова отдам деньги за чужие колеса. А потом посмотрела наверх, на книжные полки на стене, и замерла. Среди компьютерных справочников виднелась черная книжечка. Ее корешок был украшен серебряными буквами. Я прочитала: «Остров сокровищ — Р.Л. Стивенсон». Я стояла и смотрела, как буквы переливаются под уличным светом, проникавшим в гостиную с балкона. Я провела пальцами по буквам, те были слегка выпуклыми, как затянувшаяся рана. У меня больше ничего не болело — анальгетик быстро сделал свое дело. Пес лизал мою босую ногу. Я смотрела на книгу

и думала о Джиме Хокинсе, которому сказали, что он должен описать все как было и ни в коем случае ничего не упустить. Через некоторое время я сняла с себя всю одежду и вернулась в кровать к Майклу. Сколько лет прошло с тех пор? От нашего первого секса до звонка Лейлы? Люди умирали каждый день. Сколько их перестало существовать с дня, когда мы похоронили Зайца? За время, пока мы с ней не слышали друг друга, прекратились многие жизни. Где была она, пока я знакомилась с Майклом, спала с Майклом, ела торты с Майклом, ссорилась с Майклом? Почему не позвонила мне в тот день, или тогда, перед аптекой, или на следующий, или в любой другой день, кроме этого? Почему не позвонила мне до того, как я увидела ту книгу на полке у Майкла? Как будто она наперед знала все о моей жизни, обо всем, что со мной произойдет, раньше, чем я сама.

В моих ушах по-прежнему стоял ее хриплый голос. Она была старше, грубее, но по-прежнему с тем же завораживающим низким голосом. Я глубоко вздохнула и осторожно открыла дверь, как бы отчасти надеясь, что застану Майкла за каким-нибудь непростительным занятием. Тогда было бы легче.

Я не разулась. Он сидел в гостиной и писал коды, которые я никогда не понимала. Я стояла в дверях у него за спиной и смотрела на аккуратные фразы, белые на черном мониторе, сотканные из цифр, букв и знаков, следующие одна за другой. Майкл всегда говорил, что весь мир закодирован. Что я не осознаю, что за моим софтом для перевода, за моими любимыми журналами, моими плейлистами с музыкой того времени, когда его работы еще не существовало, скрывается целый недоступный мне язык. Я стояла, смотрела на это множество символов и спрашивала себя, кого он однажды этим осчастливит. Поможет ли кому-то, сам того не подозревая, окончить докторантуру, или убить какое-нибудь чудовище в видеоигре, или, кто знает, написать с помощью нового софта предсмертную записку. Этот сгорбившийся человек в слишком широком джемпере с узором из ромбиков — чей он бог?

Моя рука по-прежнему оставалась в кармане пальто, я сжимала телефон, из которого полчаса назад просочилось: «Армин в Вене». Мне казалось, что я не смогу собрать вещи и уехать в аэропорт, если мои пальцы выпустят телефон. Вместе с ним выпадут и Лейла, и Армин, и Вена. А что будет со сгорбившимся богом в джемпере

с ромбиками? Ничего страшного: Загреб, Мостар, Вена. Пара недель, ну месяц, если решу остаться подольше. Телефон в моей стиснутой ладони становился все теплее. Босния, Лейла. Это не двухнедельный отдых, после которого вернешься домой и ляжешь в кровать с Майклом. Это все равно что заново сесть на героин. Я уже была запятнана родным языком.

Я подошла к нему со спины и сняла с головы наушники. Он перепугался. Положила ладони ему на плечи. Я одновременно чувствовала и обычность этого хорошо известного движения и то, что сейчас оно другое.

«Это всего лишь я», — сказала я.

«Нашла занавески?» — спросил он, продолжая смотреть в монитор. «Нет», — ответила я. Я чувствовала, как в мою утробу падают тяжелые английские слова, кирпич за кирпичом.

«Завтра я схожу…, — сказал он, — если ты еще один день сможешь вытерпеть вид нашего голозадого соседа».

Я села на диван возле письменного стола и обвела взглядом нашу гостиную. И увидела ее как в первый раз — ведь я смотрела глазами Лейлы. Ее звонок сделал из моей жизни музей. Я смотрела на стену над компьютером Майкла, на

полку с фигурками «Лего», мелкими кактусами и книгами о языках программирования. С другой стороны — вторая стена, заполненная моими словарями и энциклопедиями, с черно-белой фотографией седого возмущенного Сэлинджера, стиснувшего кулак, чтобы разбить хамский объектив. Между нашими непереводимыми мирами стоит круглый обеденный стол, который мы както вечером вдвоем собирали, препираясь из-за инструкции. Рядом с большим телевизором — фотография его пса. Диабет. Нам пришлось его усыпить. Майкл держал большую черную лапу Ньютона, я держала руку Майкла, а пес погружался в сон. Майкл плакал, вытирал нос о свое плечо, он не хотел выпустить нас — Ньютона и меня, лапу и руку. А рядом, между телевизором и письменным столом — проклятое деревце авокадо, упрямое растение, выжившее вопреки всем прогнозам, маленькое, недоразвитое, без единого плода в перспективе, но тем не менее из сезона в сезон живое. Тощее несчастное дерево. Я его просто так однажды посадила, совершенно неправильно. Майкл потом увидел на «Ютубе», что косточку нужно было проколоть зубочистками и оставить в стакане с водой. А я ее извлекла из плода, очистила от кожуры и засунула глубо-

ко в землю, как волшебную фасолину. Мне это показалось похожим на похороны — влажная крупная косточка, глубоко в горшке. Но вскоре стало ясно, что могила на самом деле оказалась хитроумной колыбелью. Майкл ее поливал, поворачивал к солнцу, счищал с листьев паразитов. Зомби-авокадо. Я сидела на диване и смотрела на него, будто вижу в первый раз. Если бы Лейла увидела мое дерево авокадо, она бы расхохоталась своим подлым смехом и напомнила мне, что я из тех, к кому растения приходят не жить, а умирать.

Я ее хорошо видела там, на паркете Майкла, она бросала снисходительный взгляд на мой дублинский этап. Она бы даже ничего не сказала, просто взглядом сбросила с меня Европу, как дорогую шубу с жалкой выскочки, и без тени стыда предъявила бы всем мои балканские шрамы.

Когда Майкл оторвался от клавиатуры, он обернулся и посмотрел на окно за моей спиной. Двумя неделями раньше в доме напротив нашего поселился нудист. Из нашей гостиной нам была видна его столовая. Это был человек среднего возраста, совершенно обыкновенный, с красными в белый горошек кастрюлями и черной сумкой на стуле. Один из тех, кто, оставшись без шевелюры,

пытается подчеркнуть собственное достоинство слишком большой бородой. На стене у него висел календарь за девяносто какой-то год. Ел он раз в день, прямо из кастрюли. Слушал Шостаковича. Майкл нервничал как из-за музыки, так и из-за впечатляющего мужского достоинства соседа, которое приветствовало его каждое утро.

«Он дома?» — спросила я.

«Нет. Слава богу».

Он продолжал смотреть в окно. В бороде застряли крошки от чипсов. Если бы это был какой-то другой Майкл, тот, который существовал до Лейлиного звонка, Майкл, который плачет, когда чужой человек убивает его собаку, Майкл, который руками ест торт «Красный бархат», Майкл, который требует у меня большой шуруп для ножки обеденного стола… возможно, я и стряхнула бы с его бороды крошки. Так естественно, что он бы этого и не заметил. Но так это не имело смысла. Дотронуться до статуи в музее. Поэтому я просто сидела на диване, на нашем диване, который вдруг стал его диваном, а потом, очень скоро — просто каким-то диваном, и смотрела на этого большого рыжеволосого бога и на пятно от кофе на его джинсах. Сумеет ли он найти средство от въевшихся пятен? Его ступни, вообще-то

огромные, по сравнению с полем исцарапанного паркета вокруг них показались мне крохотными. Кто купит ему новые тапки? Он сам об этом никогда не подумает. Будет ходить босым, всегда, по плохому паркету. Я смотрела на его ступни как на детей, которых бросаю.

«Я должна ехать домой», — сказала я в конце концов. Home. Мы жили вместе уже шесть лет, не следовало так говорить. *Home* была наша квартира, наши книги, наша кровать с анатомическими подушками, наш испорченный душ, уточка на плитке в ванной, царапины на паркете. И даже голый мужчина в нашем окне. *Home* — это не Босния. Босния — это нечто другое. Ржавый якорь в зассанном море. До сих пор нужно делать прививку от столбняка, хотя прошло столько лет.

«Зачем тебе ехать домой?» *Home*.

У меня были готовы ответы. Я представила ему абсолютно убедительный рассказ о *великолепной возможности* повидаться с матерью, привести в порядок кое-какие документы, забрать оставшиеся пластинки, рассказ о школьной подруге и ее брате, который, похоже, в Вене, рассказ о Вене, великолепной, безукоризненной, тем более что там в это время будет конференция о дискурсе и власти, на которую я иначе бы не

смогла попасть, рассказ о дешевых авиабилетах и о том, как мне всегда хотелось увидеть Мостар, какой это отличный тайминг, рассказ обо всем и ни о чем. Мне показалось на мгновение, что он поймет, в чем дело, увидит дыры в моем неуклюжем коде, что он мне скажет, что об этом не может быть и речи. Я как будто надеялась, что так и случится. Я бы позвонила Лейле и объяснила, что у меня просто нет возможности приехать, Майкл прав. Когда я приходила с работы пораньше, я осторожно открывала дверь, осознавая возможность, что Майкл может быть на нашем диване с какой-то другой женщиной. Может быть, даже не с женщиной, думала я, тихо защелкивая замок, может, просто смотрит какой-то порнофильм сомнительного качества, где крупная дама облегчается на связанного мужчину, что-нибудь такое — и я его за этим застукаю. Всегда есть такая возможность — что ему все же удастся меня оскорбить или обидеть, но я буду права, и это меня утешит. Но оказалось, что я год за годом вхожу в квартиру и застаю его набивающим коды на грязной клавиатуре, полной крошек от печенья. Возможности исчезают. А теперь? Он что-то скажет. Он смотрит в окно, туда, где живет голый мужчина. Морщится. Это

мгновение я буду помнить долго, подумала я. А потом в какой-то день забуду. То мгновение, когда по-прежнему существовала возможность, пусть даже минимальная, что Майкл мне что-то запретит. Однако он лишь кивнул, по-прежнему уставившись в окно, и сказал: «Конечно, делай все, что тебе нужно».

Не нужна мне Лейла, это я ей нужна. Всегда так было. Я хотела это ему сказать. И про Армана. И про тех собак. Вместо этого я сказала: «Тебе нужны новые тапки». Он улыбнулся, ответил: «Сначала занавеска» и вернулся к программированию. Авокадо продолжало расти, тихо и неподвижно. Его упорная жизнь меня позорила.

[Тебе семнадцать лет. Мне на год больше. Поем *Guadeamus igitur*. Ты поешь *humus* там, где надо *sumus*. Я щиплю тебя. «Сперва идет sumus», — шепчу тебе. А ты вопишь во всю глотку, гордясь своим фантастическим отсутствием слуха, хотя училка музыки велела тебе только открывать рот. Наш классный руководитель произносит ту же речь, что и в прошлом году, и в позапрошлом. С момента, как был объявлен мир, он, похоже, нашел новое призвание — недооцененный академик, который, если бы история его не обманула, мог достичь бог знает каких высот и получить бог

знает какие награды. Однако так ему не остается ничего другого, как скромно — подобно каждому настоящему гению — поучать нас, потерянное поколение молодежи.

«Вы, — говорит он своим трепещущим голосом с нереализованным потенциалом, — поколение, перед которым простирается бескрайний простор возможностей». *Асфальта*, поправила бы его какая-нибудь более старшая ты. Но что мы могли тогда знать? Ты в бандане, повязанной на лоб, в слишком широкой джинсовой куртке, с щеками, блестящими от крема, который получила бесплатно как приложение к зимнему изданию журнала Teen. Я — в одном из моих поношенных платьев-рубашек, в кроссовках на платформе и с жемчужинами в ушах. Мы не знали, что поем. Наши голоса прокрались из легких, как невинные летучие мыши. «Смерть придет быстро и жестоко схватит нас», — пели из нас какие-то мертвые римляне. Мы будем глубоко под землей, сказали они, и никто нас не спасет. Кто-то был обязан перевести нам эту тьму дешевых эстрадных клише. А может, так оно и должно быть: сперва петь о смерти на языке, которого не понимаешь. Позже, когда ты узнаешь истинную природу стихов, которые продекламировал перед гордящимися

тобой родителями, передумывать слишком поздно. Да кроме того, твои родители и не понимают латынь. Сейчас тебе хочется жить, жить и радоваться, несмотря на смерть. И мы обе точно так же стоим и поем о смерти, о радости, смотрим в какое-то неопределенное пространство за спинами наших родителей и преподавателей, во что-то далекое и необратимое, как латынь, затерявшееся в облупившейся краске на стене за публикой, смотрим на море возможностей. А они смотрят на нас — неожиданно гордые и существующие, — словно наш ор вырвал их из глубокого сна, из какой-то темноты, которую они сами и соткали всего лишь несколько лет назад. Поем морю, которое у нас украли, стакан за стаканом, пока мы были заняты собиранием салфеток, стеклянных шариков и плакатов *Моей так называемой жизни*. Моя мать, тихая и широкая, как озеро, в светло-голубом выходном платье, рядом с отцом. Он забыл снять свою потрепанную кепку перед всем моим классом. И его палка, дубовая, на моем выпускном она как младший брат, которого я не хотела, прислоненная к стулу между моими родителями. Папа то и дело слегка кивает, оглядывается и что-то шепчет маме. Отсюда, со сцены, я его не слышу, но могу угадать каждое

слово. *Вон там Костич, парень у него такой толстый, чудо, что школу окончил. А вот и Лалич, и его жена. Дочка ихняя в одном классе с Сарой.* Мама все время моргает. Она в корсете, это видно по ее щекам. Если весь этот цирк затянется, она в нем сварится.

Недалеко от них сидит твоя мать, одна, в черном, как знак препинания среди пестрых блузок. Воротник с одной стороны загнулся, она забыла его расправить. Позже, перед фотографом, ты без слов исправишь эту тихую оплошность. Подойдешь к ней, обнимешь за талию, прислонишься головой к ее неподвижному плечу, как будто фотографируешься с деревом. Весна близится к концу, как все-таки грустно среди всех этих увядающих ландышей и цветов лип. Сладковатый запах просачивается сквозь дым сигарет и духи гордых матерей. Я стою, прислонившись к столбу, и смотрю на твою маму, как она протягивает тебе деньги и произносит какие-то не доносящиеся для меня фразы. Словно покупает картошку. Ты терпеть не можешь ее траур, но это выпускной вечер, она дает тебе деньги, за вами поблескивает церковь, похожая на свежеотполированную кофемолку — нет смысла ее критиковать.

Когда она уже отошла достаточно далеко, вниз,

по аллее, подхожу к тебе и показываю купюры в своей сумке.

«Пятьдесят», — говоришь ты.

«Отлично… Я двадцать»

«Как раз хватит. А ты взяла…»

«Взяла. Пахнут клубникой»

«Неужели ты нюхала?»

«Ты что, дурочка? На упаковке написано».

Наш отказ одеться торжественно был таким же продуманным, как и шуршащие слои тюля на наших одноклассницах. Мама старалась на меня не смотреть: она надела свое самое красивое платье, то, в которое она еще смогла поместиться. Мои тощие ноги ее нервировали. Дочь начальника полиции на выпускном в кроссовках и лосинах.

За день до выпускного она потащила меня покупать лифчик. Мне это было не нужно, но для нее, как было видно, что-то значило, поэтому я согласилась. Должно быть, это был способ сблизиться со мной где-нибудь, где нет папы, который всегда вставал на мою сторону. Она была готова исполнить святое дело — научить меня примерять бюстгальтер, *как бог и заповедует матерям*. В кабинке для примерки она потрясенно смотрела на мои ребра, мою неразвитую грудь, впалый живот. Потом с гордостью ухватилась за

свои тяжелые груди и сказала: «Они у меня такие еще с восьмого класса. Ты, похоже, и в этом вся в отца». Моя мама как обиженный подросток, которому так необходима эта победа, стоит перед моим полуголым телом и держится за груди.

Утром в день выпускного папа подарил мне золотую цепочку с кулоном размером в спичечный коробок, на котором кто-то курсивом выгравировал мое имя, фамилию и дату. Папа смотрел в пол, как делал всегда, когда боялся заплакать. Он сказал: «Браво, дочка». Лет через пять-шесть я положу эту цепочку на потную ладонь одного дублинского владельца ломбарда. Деньги помогут мне продержаться всего месяц. Матери я позвоню из интернет-кафе. Она будет разоряться, считая, что чем громче говоришь, тем лучше связь, а папа будет молчать, вместо его голоса мне будет слышен только взволнованный голос футбольного комментатора. Потом я заложу жемчужные серьги, бабушкино кольцо и две кожаные сумки. Променяю Боснию на деньги, только бы не пришлось туда возвращаться. Но тогда, в тот день, в кроссовках на платформе и косой до попы, я этого не знаю. Мы окончили школу. Стою рядом с тобой и пою, с цепочкой под рубашкой, чтобы знакомые не увидели. Не знаю

я и того, что однажды утром, после первой же зарплаты, я вернусь в ломбард и увижу, что уже поздно. Не знаю, что мне будет очень жаль, хотя цепочка была отвратной, да и с кулоном отец перебрал во всех отношениях.

А те два парня, которых мы отобрали, чтобы они сделали свое дело? Должно быть, это была твоя идея. Мне после Александра было безразлично. Я хотела, чтобы все произошло как можно скорее. Доверила тебе разработку всей операции, как будто моя невинность была счетом в банке, а ты — ловким бухгалтером. Тебе никогда не было трудно привлечь внимание любого мужчины. Они видели в тебе то же, что и я: обещание тихой дикости, которая поджидает за влажным пнем в глубине леса. Твои глаза были еще чернее, чем всегда, обведенные толстым слоем туши, которую ты забыла снять перед сном. Ты являлась на занятия нечесаной, в измятых и слишком больших для тебя рубахах. До того, как первый преподаватель войдет в класс, я успевала лизнуть указательный палец и стереть черные пятна у тебя под глазами. А ты смотрела на меня так, будто тебе безразлично с пятнами ты или без. Я вытаскивала из сумки тональный крем и быстро мазала твой красный нос. Могла нари-

совать тебе лицо какой-нибудь гейши, и ты бы не отреагировала.

Они это чувствовали, нетерпеливые мальчики, переполненные феромонами, как тяжелый улей медом, переживающие мучительные метаморфозы, которые непонятны и им самим. Они чувствовали твою неукротимую небрежность, которая оскорбляла их влажные неосуществленные мечты. Помню тот день, когда мы писали контрольную по математике, ты закончила одной из первых — хотя должна была сделать и свой, и мой вариант — и смотрела в окно, туда, где ворота школы выходят на дорогу. Я помню этот момент, потому что заметила, как преподаватель смотрит на твое лицо, пока остальные ученики борются с трудной арифметикой. Он смотрел на тебя спокойным, уверенным взглядом, как будто понимает что-то, что останется для нас, подростков, недоступным еще по крайней мере несколько лет. Своими глазами он превратил тебя в сложное мифологическое существо, прочитать которое может только взрослый. За это я его ненавидела. Но твои глаза отдыхали на воротах, там, где, если долго смотреть, могла появиться темноволосая фигура в длинном пальто.

Помнишь наших тощих поклонников? После

того как все выпускные ритуалы завершились, мы отвели их к реке, туда, под большую иву. Их душили пестрые отцовские галстуки. Тот, твой (или тот был мой?), принес с собой солидную баклагу со сливовицей, на которой было вырезано раздраженное лицо святого Василия Острожского. Мы купили четыре пирожка с творогом и литр фанты, чтобы было легче проглотить ракию. От поверхности реки тянуло металлическим запахом застоявшейся весны.

«Ты куда поступать будешь?» — спросил меня тот мой, пока я лежала на траве и смотрела в мутное небо, обеспокоенная тем, что дождь может разрушить наши планы.

«На литературу», — сказала я и взяла баклагу.

«Сербскую?»

«А какую же еще?» — спрашивает тот твой.

Потом он поворачивается к тебе — ты лежишь, раскинув руки и ноги, будто тебя кто-то распял на влажной земле, и пытаешься свистеть. «А ты куда собираешься?»

«Никуда», — отвечаешь ты ему и продолжаешь бесплодные попытки высвистеть больше двух тонов.

«Ты же не умеешь свистеть», — громко сказала я, чтобы сменить тему. Весь последний год

гимназии я провела, уговаривая тебя поступить в университет, на что ты немедленно отвечала одной-единственной фразой: «Мне нужны деньги», — никогда не объясняя, на что тебе нужны деньги конкретно, а потом перестала говорить это и просто меняла тему или же полностью меня игнорировала.

«Но ты ведь все-таки куда-то поступишь?» — спросил тот твой.

«На кой?»

«А что же ты будешь делать, убираться у кого-нибудь в доме?» Он спросил это с отвращением, будто мыть и убирать было так же отвратительно, как и гадить. Она приподнялась, опираясь на локти, и посмотрела на него как на самое глупое существо в мире.

«А куда поступит Сара?» — спросила ты у него, хотя прекрасно знала мой выбор. Я молчала, встревоженная тем, что твое высокомерное поведение отвратит их от первоначальной цели. Мы пришли на реку не для того, чтобы обсуждать твое пропащее будущее. Для такого не идут на реку. Было бы непорядочно, если бы ты уничтожила это лишь для того, чтобы показать каким-то мужчинам, какая ты необычная, гораздо более необычная, чем глупая я, которая хочет учиться

в университете.

«Ну, Сара — на литературу», — в один голос ответили оба.

«О'кей, — сказала ты. — Тогда и я на литературу. Теперь все о'кей?» Она снова опустила растрепанную голову на мокрую землю, закрыла глаза и продолжила свистеть. Твой ухажер положил ладонь тебе на колено, это не нарушило мелодию. Тот мой тут же делал все вслед за ним, так как, было очевидно, не знал, что надо делать. Ладонь на твоей шее — ладонь на моей шее. Пальцы в твоих волосах — пальцы в моих волосах. Так я смогла почувствовать все то же, что и ты. Моя *особая ночь* была лишь копией твоей.

Вскоре мы разделились, каждая пара — со своей стороны толстого дерева. Тот мой остался теперь без образца для подражания и почти не знал, как быть. Я помогла ему с презервативом. Когда я первый раз почувствовала его в своей руке, мне показалось, что я схватила за шею маленькую испуганную птицу. Я расставила ноги и посмотрела на большую Луну. Она висела на мертвых небесах как не заслуженная никем медаль, старая и исцарапанная. Ее потрескавшиеся губы что-то мне говорили, что-то важное. А потом неожиданно, без всякого предупреждения, она сорвалась

с черного неба и с силой плюхнулась в черную реку. Капли воды брызнули на мои голые ступни. Воцарилось совершеннейшее молчание, темнота была полной. Боль пронзила меня резко и без предупреждения, словно в отместку, потому что я когда-то давно, где-то глубоко в своем теле захватила ее престол.

Предыдущей ночью мы сварили густую смесь из лимонада с сахаром и намазали себе между ног. Ты вырвала волоски у меня, я у тебя. Я знала, что будет жечь, но не противилась. Я верила тебе. Потом я тебя слышала по другую стороны от ивы. Тебе было больно, и я пыталась собственным криком победить твою боль.

Позже мы остались лежать, каждая возле своего мужчины в галстуке, на траве, от которой пахло клубникой и фантой. Один сказал, что уже поздно и, если мы все еще хотим попасть на празднование в отель, пора возвращаться. Но ты просто запела Guadeamus igitur со своей стороны дерева, а я засмеялась и крикнула: «Не humus, а sumus!»

Проснулись мы в одиночестве, на рассвете, прижавшись друг к другу, словно нас питала одна невидимая пуповина, тянущаяся от реки. Сперва я не понимала, где нахожусь, я слышала воду,

как она плещется о камни на берегу, и подумала, что она меня проглотит и унесет далеко-далеко. Потом увидела твои черные волосы на своей ладони и вспомнила, что несколько часов назад мы потеряли невинность. Я сбросила с твоего плеча маленького красного муравья. У меня по-прежнему болело между ногами, но я не хотела тебе в этом признаться. Умолчала я и о том, что хотела проснуться рядом с ним, а не рядом с тобой. Ты была беспощадно не изменившейся, будто во всем этом не было никакой причины для грусти. Все прошло по плану. Мы достали из моей сумки чистые трусы, аспирин и оставшиеся деньги.

«Хочешь сразу домой?» — спросила ты меня, пересчитывая бумажки и мелочь.

«Не знаю… А сколько вообще времени?»

Она посмотрела на свои желтые резиновые часы и сказала: «Шесть и… сколько-то. Какая разница, выпускной, сердиться никто не станет».

«А куда нам деваться в такое время?» — спросила я, натягивая через голову измятую рубаху, всю в траве, земле и крови.

«Пойдем на рынок», — ответила ты так, словно это самая нормальная вещь на свете.

«На рынок? Сейчас?»

«Да, он открывается через полчаса».

Ты была готова меньше чем за минуту: черный «хвост» почти на самой макушке и шнурки, завязанные надежным двойным бантиком. Я продолжала попытки обнаружить в кустах свои лосины. Осторожно спустилась к реке, где у подножья плакучей ивы лежала моя кроссовка. Пока я обувалась, увидела среди листьев что-то белое. Это была детская перчатка с грязными и порванными пальцами. Видно, у кого-то упала с моста, еще зимой.

«Смотри», — сказала я и показала ее тебе.

«Зачем она тебе? Лето же», — сказала ты равнодушно, нанося новый слой блеска на губы и щеки. Ты одним махом сделала из меня малышку, кого-то мелкого и незначительного, персону, на чьи крошечные пальчики можно натянуть маленькую перчатку.

«Еще не лето, умница!» — крикнула я тебе, а ты только пожала плечами, будто времена года — это дело личного выбора, а не научной договоренности. Не было еще и семи утра, а ты уже действовала мне на нервы. Моя находка не значила для тебя ничего, как и гимен, который ты уничтожила этой ночью, — и то, и другое ты отбросила как нечто скучное и непрактичное. Зачем она тебе, лето же? Я хотела показать, что

и для меня эта дурацкая перчатка ничего не значит, и со всей силы бросила ее в реку. Я думала, что вода намочит нити и утопит ее, но она была для этого слишком мала. Просто упала, как лист на поверхность реки, и отдалась течению.

«Что ты будешь делать на рынке в такое время?» — спросила я, пытаясь подняться наверх, к тебе.

«Я иду, — сказала ты, — купить белого зайца».

Ты стояла надо мной, крепкая и надежная, как крест, окруженная утоптанной землей и использованными презервативами, которые уже давно утратили запах клубники, а на твоем лице было что-то чужое, что-то, что не было мне известно до сих пор, и помню, что подумала в тот момент — я, растерянная и маленькая, в одной кроссовке. Я подумала, что этой ночью ты, под тем болваном, открыла для себя нечто, что я пропустила. Я подумала в страхе, что буду вечно гнаться за тобой, чтобы постигнуть то, какое-то взрослое, неосязаемое знание, пока ты исчезаешь вдали. Я подумала, что тебя больше нет, что тебя кто-то наполнил гелием, когда я не видела, и ты, как воздушный шарик, выскользнула из моей руки в открытое небо.]

3.

Небо над Загребом ясное. Нам остается еще несколько минут пробыть в воздухе. Из окна самолета вижу какую-то воду, имени ее не знаю. Вижу и безымянные улицы, и маленькие дома, разбросанные вокруг, как забытые игрушки. Машины медленные, далеко под нами, продвигаются по улицам, как зловещие тромбы через старые вены.

Я узнала бы Балканы через это овальное окошко среди всех других панорам. Я не очень хорошо разбираюсь в географии, не знаю названий рек и гор. Возможно, это стыдно. Балканы для меня цвет, а не топоним. Имена — это забывается легче, нужно только заполнить себя чужими словами, чужими картами, и буквы исчезают, как сахар на языке. Но цвета остаются, как пятна под веками, хотя я уже давно оставила сентиментальность у себя за спиной, в доме матери. Цвета не стираются пройденными километрами. Тяжелый оттенок зеленого как забытые перцы, высохшие и сморщившиеся, они не могут больше никого накормить. Неприятный коричневый, который

продолжает извиваться наподобие мертвой реки после апокалипсиса. Цвет мумии, которую изнутри съели черви. Видны отпечатки сапог, хотя их невозможно увидеть с такой высоты, это лишь иллюзия. Сотни сапог, топтавших землю. И кусты, бледно-зеленые опухоли возле рек, усталые кусты, но по-прежнему дикие, каждый с вопросительным знаком сверху. Здесь кто-то умер? Здесь кого-то убили?

Рядом со мной сидит рыжий мальчик, читает какой-то комикс на немецком. На полстраницы нарисована испуганная женщина в облегающем платье, веки закрыты движением карандаша. Под ними ничего нет. Художнику не нужно рисовать глаза, чтобы их закрыть. Мать мальчика наклоняется в мою сторону и вытаскивает из щели между двумя креслами ремень, чтобы пристегнуть сына. Самолет начинает трясти, и мальчик хватается за руки матери, словно они сильнее турбулентности, даже сильнее гравитации, если мы валимся головой вниз в смерть.

«Приматы не летают», — говорила мне на первом курсе какая-то давняя Лейла, слишком гордая, чтобы признать свой страх полета. Она никогда не летала на самолете. Однажды я ее спросила, как она увидит Америку или Австралию.

«Австралию? — повторила она изумленно. — Там, где вот такие пауки? Которые прыгают. Прыгают, Сара. Пауки. Тарантулы»

«А Америка?»

«Какая тебе Америка… Они там еще хуже сумасшедшие, чем мы здесь».

Но это все были глупости, чтобы скрыть страх перед самолетами. Не из-за смерти. Лейлу никогда не пугала идея умирания. Ее гораздо сильнее пугала нехватка земли под ногами.

В загребском аэропорту написано: «Добро пожаловать в Европу» на случай, если кто-то об этом забыл, включая нас, только что прилетевших из Германии. И пока мы ждем появления наших чемоданов на движущейся ленте, вокруг снуют работники аэропорта Плесо, выполняющие свои двухминутные задачи, все очень важные, подтянутые и крепкие, в отглаженной форме, напоминающей простодушной деревенщине, что *это* не Балканы. Вскоре я обнаруживаю свой чемодан и сажусь в такси.

«Где ваш отель?» — спрашивает меня водитель.

«Не в отель, — говорю с улыбкой. — На автовокзал». Он пожимает плечами и нажимает кнопку на счетчике, под бледной Богоматерью. Нужно

было сказать не «автовокзал», а по-хорватски «колодвор», корю я себя, пристегивая ремень.

«Сзади можно не пристегиваться», — говорит он добродушно. Он прав. Это не Дублин.

«Привычка», — говорю я.

Из зеркала заднего вида на меня смотрят два крохотных голубых глаза и улыбающийся рот. И пока мы продолжаем разговор — откуда я, чем занимаюсь, знаю ли, что на автомагистрали к Градишке произошла авария, перевернулся грузовик с рыбой, — я понимаю, где я и где меня нет. Дублин, Майкл, авокадо, наш голый сосед — отсюда все это кажется мне спектаклем, который я смотрела давно-давно. Я сижу в такси в Загребе, какой-то человек, который верит в непорочное зачатие, везет меня к «колодвору», там я отыщу автобус на Мостар и — и все дела. Возможно, что-то случится: возможно, мне скажут, что все билеты проданы, возможно, автобус перевернется, как тот грузовик с рыбой, возможно, я заблужусь в Мостаре, несмотря на ее инструкции и все навигационные приложения в моем телефоне, вместе взятые. Возможно, я ее найду и пойму, что на самом деле это была вовсе не она — пять дней назад мне позвонила какая-то другая Лейла, и тот голос был чужим, неузнаваемым, произошла

ошибка. Как же удивится незнакомая женщина, когда я войду в ресторан и я буду кем-то другим, кем-то, кого она не ждет. Мы посмеемся над случайностями жизни и потом снова отправимся каждая своим путем. Кто знает, может, мы станем подругами, я и та ошибочная Лейла. Может быть, по-прежнему существует возможность, что все это лишь ошибка. Ошибочный номер в коде на каком-то мониторе. И я вернусь домой еще до того, как умрет мое дерево авокадо.

«Вот и автовокзал», — говорит мне водитель, выключая счетчик. Я подумала обо всех таксистах, которые в меньшей или большей степени изменили мою жизнь, не зная о своей колоссальной роли. Все эти безымянные участники эпизодов, которые толкают нашу историю вперед двумя ловкими руками, подобными стрелкам часов, которые никогда не останавливаются. Я прочитала его имя на водительской карточке, хотела запомнить, хотя знала, что забуду его уже в следующую секунду. Хотела придать человеку, который довез меня до автовокзала, особое значение. Приблизил ко мне Лейлу, благополучно не подозревая об этом. А я ему за это заплатила.

После четырех часов, проведенных на автовокзале за литром кофе, тремя круассанами

и хорватским журналом, сажусь в автобус. Спрашиваю водителя, когда будем в Мостаре. В пять утра. Она тогда будет спать. Официантка она или нет, я не знаю, но сомневаюсь, что теперь она стала просыпаться раньше десяти. Что мне делать в Мостаре в пять утра? Разбудить ее? Не знаю, где живет. Она дала мне адрес ресторана. У меня есть семь с половиной часов, чтобы придумать, что я ей скажу. Если только что-то не случится с колесами или тормозами. Тогда я стану свободна. Автобус полупустой, пассажиры разбросаны по засиженным креслам. Некоторые уже погрузились в сон, зарывшись в куртки, слишком толстые для начала мая. Я видела на их лицах километры, преодоленные в этом же автобусе, некоторые их семьи — сыновей, дочерей, внуко, в — разбросанные между двумя странами, и то, как они ловко усаживаются и устраиваются на своих местах, словно у себя в гостиной. Некоторые держали на соседнем сиденье широкие полотняные сумки, просунув руку под ручки. Один пожилой мужчина разулся и, прежде чем поставить туфли под сиденье, краем глаза глянул на присутствующих. Может быть, чтобы убедиться, что никто не заметил, а может, чтобы оценить, кто из нас потенциальный вор. В их лицах, в их

распухших красных суставах и потных лбах с навсегда застывшей морщиной озабоченности было что-то узнаваемое. Над потертыми подголовниками виднелись коротко стриженные женские головы, свежеокрашенные перед поездкой в Хорватию, скорее всего на Пасху, а сейчас уже с повисшими жирными прядями, готовыми снова быть забытыми в Боснии. Одна полная женщина потянулась через соседнее с ней сиденье и резко похлопала по плечу другую, которая, казалось, уже успела по дороге заснуть.

«Эй… Ты помнишь, что выходим на паспортном контроле? Не засни», — сказала первая.

«Да дай ты женщине поспать, — раздался высокий и резкий мужской голос за мной. — До Посушья мы раньше четырех утра не доедем».

Следя за этим, на первый взгляд невинным, обсуждением, все пассажиры оживились. Одни обращались прямо к двум госпожам, начавшим разговор, другие — как бы сами к себе, сетуя на то, какой путь еще впереди. Из темноты неидентифицированных кресел звучали самые разные голоса, одни тяжелые и усталые, другие звонкие и оживленные — и в какой-то момент мне показалось, что и сам автобус заговорил. Я не могла заснуть, потому что прямо за мной сидел самый

разговорчивый собеседник и объяснял тонким, напряженным голосом, каким заявляет о себе голодная гусыня, как их однажды всех вывели среди ночи для проверки паспортов, хотя в автобусе была беременная женщина и мужчина с маленькими детьми. На это некая госпожа спереди, отдуваясь, заявила, что такого с ней никогда не случалось, а она, бывало, ездила с дочерью и тремя внуками, и им всегда разрешали остаться внутри, детей не будили. С сиденья передо мной мелкая фигура прокудахтала: «А где ваша дочка и внуки?»

Тут я поняла, что поспать не удастся. Госпожа с другого конца автобуса принялась комментировать густые ветви своего семейного древа, объясняя неблагоприятную географию и сложную историю просто: «А что поделаешь? Что есть, то есть, приходится ехать. Кто меня спрашивает? Они же мои». На этих словах проснулся разувшийся господин в середине автобуса и тоже высказался: «Уф, а представь, каково мне: дочь с зятем в Германии, другая дочь уехала учиться в Загреб, а у сына фирма в Любляне, он там делает эти, как они называются, ну, типа пластиковые окна и жалюзи и что не…»

«У меня сестра в Австралии…» — добавил хрип-

лый женский голос из темноты.

«А я сестру похоронил в прошлом году. Почки», — ответил разувшийся человек, надеясь, что положит конец состязанию. Бумага побеждает камень. Камень побеждает ножницы. Могила побеждает Австралию.

Однако состязание продолжилось аж до Кореницы. Некоторые гордились похороненными родственниками, другие — утраченными домами. У некоторых были умные дети, доктора и инженеры, которые не могут найти работу, другие на это отвечали, что живут на двести марок в месяц, имея тридцать лет стажа. Был момент, когда казалось, что та сова, что спала, победила: извлекла, как она выразилась, две опухоли из живота, а два года назад и всю матку. Снимает угол, живет продажей лотерейных билетов. Дочку бросил муж. Шах и мат.

Я в состязании не участвовала. Мне нечем было гордиться. Я здорова, еду из Ирландии, у меня есть Майкл, и я направляюсь в Мостар, потому что у меня есть деньги заплатить за Лейлины прихоти. Неважно, что этим требованием она мне дала под дых. Как мне состязаться с их мертвыми, их руинами и мизерными пенсиями? Лейла бы, может, и смогла. Нашла бы способ посрамить их

всех и при этом ни на миг не пожалеть себя. Мне почти захотелось, чтобы она была здесь, рядом со мной.

Однажды мы вместе поехали на море, автобусом, сразу после поступления. Пока все еще было в порядке. Она прислонилась спиной к окну, а вытянутые ноги положила мне на колени. Произнесла шепотом: «Я слушала, как плачут в ночи невидимые поезда», — я посмотрела на нее с недоумением.

«И не мечтай», — сказала я; я почти спала. А она только улыбнулась, переполненная собой и собственным превосходством. Правила игры должны соблюдаться в любое время и в любом месте.

Я сбросила с себя ее ноги и тихо встала, пытаясь после многочасового сидения вернуть ток крови по онемевшим бедрам. Остальные пассажиры спали, снаружи царила полная темнота. Я пробиралась между креслами неслышно, словно охочусь за их душами, и взглядом искала хоть какую-нибудь книгу. Уснувшие руки одних лежали на раскрытых таблоидах, другие держали сумки или веера. Я нашла то, что искала, в другом конце автобуса: книга торчала из рюкзака какого-то прыщавого парня. Для человека, который

совсем недавно читал Киша, он спал слишком спокойно.

Я вернулась на свое место и прошипела: «Мансарда», — а потом закрыла глаза и провалилась в сон.

Мой папа велел нам сесть в середине автобуса, это самое безопасное место. Поэтому назло ему мы нарочно заняли самые последние кресла, хотя он этого не узнал бы. Там было достаточно места для ее ножищ. В тот год мы ехали на остров. Вспомнила и тот день на пляже, когда подумала, что она утонула.

Я почти видела ее рядом с собой, в этом новом автобусе, который вез меня к Мостару, к какой-то более старшей Лейле. Я слышала, как она сообщает какую-то драматическую ложь группе мрачных пассажиров. «Моя мать слепая. Вырастила нас, не имея зрения». Она могла бы брякнуть любую похожую глупость, только бы победить в их бессмысленном состязании. Стать некоронованной королевой автобуса Загреб — Мостар. Я просто сидела и смотрела на черные деревья за окном. Время от времени какой-нибудь домик вспарывал мрак освещенными занавесками. В Дублине я чувствовала, что могу удрать в самый конец города, но невидимая резинка, как

всегда, натянется и вернет меня к Майклу, как рогатка, куда бы я ни ушла. Сейчас уже миновала полночь, мы — где-то между Кореницей и Удбиной, а резинка настолько растянулась, что перестала функционировать, обвисла. Скоро растянется еще больше, но не достанет до Боснии.

А когда на нас обрушился ливень, я самоуверенно подумала, что и это из-за меня, из-за Майкла и Лейлы, из-за колес, которые начнут скользить и закончат эту историю. Нас вывели из автобуса и построили в очередь перед белой будкой, в которой сидела полная женщина-полицейский с оранжевыми губами. Теперь мне были видны лица моих сов и гусынь, которые часами не смолкали в темном автобусе, лица, искривленные судорогой, будто так они меньше вымокнут; на них — глубокие морщины, как русла рек для раскисшей и растекающейся косметики, кулаки — глубоко в широких карманах. Один человек напялил на голову пластиковый пакет. Другой безуспешно попытался закурить сигарету. Когда мы вернулись в автобус, разговоров больше не было. Смоченное дождем унижение вынудило их притихнуть. Только иногда слышался тяжкий вздох то там, то здесь, будто исходящий от измученного животного, которое наконец-то нашло

укрытие. Водитель включил радио — повтор вечерних новостей. Председатель какого-то правительства, то ли с одного, то ли с другого берега реки, говорил о создании новых рабочих мест.

«Это нас по крайней мере подсушит», — громко произнес разувшийся мужчина, на что несколько вымокших пассажиров тихо засмеялось. А потом все снова замерло, утроба автобуса стала бесплодной, почти нечеловеческой, как мокрые туфли под влажным сиденьем.

Сказать этим печальным людям, что я оставила своего неопрятного бога с босыми ногами, на исцарапанном паркете в квартире без занавесок? Сказать им, как я к нему вернусь, разумеется, я вернусь, с чего они взяли, что не вернусь? Сказать им, как иногда я представляю себе, как сдираю с нее кожу? Она лежит на своем диване, снова не имеющем цвета, я сижу на ней и сдираю кожу с ее лица, но безуспешно. Под ней всегда что-то новое. А она просто смотрит на меня и кричать не собирается. Словно ее удивляет, даже веселит моя агрессия, словно она говорит мне взглядом: «Да неужели ты думала, что мы с тобой из одного материала?»

[Смерть сначала постепенна, а потом скоропостижна. Собаки вначале умирали одна за другой.

Их безжизненные тела, зимним утром еще теплые, следовали одно за другим неумолимо и предсказуемо, так же как среда безошибочно следует за вторником. Мы находили их, лежащих на боку, еще до утренних новостей. Неподвижный язык, вывалившийся из безобидных челюстей вместе со всей их бедной нечеловеческой жизнью. Но все-таки жизнью.

Началось с собаки госпожи Ристович.

«Сербская трехцветная гончая! — кричала она через забор. Пальцем показывала на покривившийся крест, воткнутый в холмик земли перед домом, и пронзительно голосила: — Сербская трехцветная гончая! Самая редкая порода! Такое только завистливым скотинам может прийти в голову!»

В то время кресты вырастали и расползались, как бурьян: во дворах, на зеркалах заднего вида, на толстой шее нашего учителя химии или вытатуированные на руке отца нашего одноклассника Митара — тот как-то раз пришел на родительское собрание, и все его слушали, будто он президент, — а все из-за татуировки. И собаки, разумеется, были православного вероисповедания, и их провожали в последний путь соответственно обычаю; ну и что, что поп Чедо

отказался хоронить Лукаса, брюзжала госпожа Ристович, кто сказал, что порядочные люди не могут ставить крест там, где им захочется? «Что же, может быть, это позор — быть сербкой?»

Мы всегда возвращались из школы по ее улице и, стараясь, чтобы она не заметила, смеялись всякий раз, когда она кричала «скотинам» вместо «скотам». А нам было жалко Лукаса, о котором теперь выяснилось, что он был трехцветной гончей, и очень редкой, хоть никто никогда и не видел, чтобы он охотился. Господин Мичо, живший с двумя немыми дочерями в доме без фасада, сказал, что Лукас на самом деле был *югославской* трехцветной гончей, на что госпожа Ристович ответила, что и он, и Югославия могут проваливать на три буквы.

«Ты что думаешь, его эти сволочи убили за то, что он югослав?» — спросила она, сверкнула глазами и криво усмехнулась, словно только сейчас ей, и исключительно ей одной, открылась великая Истина, недоступная нам, простым смертным, у которых нет ни мертвой собаки, ни креста во дворе.

«Ладно, мать, не говори глупостей», — сказал господин Мичо, сгребая снег со своей «Лады».

«Ха, я говорю глупости! Ты что думаешь — это

случайно? Эти сволочи потравят и нас, когда мы спать будем. Сначала сербских собак, а потом сербов. Да что тебе говорить», — сказала госпожа Ристович, прищурившись через забор на нас, а особенно на тебя и твои новые кеды с двуцветными шнурками, как будто это ты задушила ими бедного пса. А господин Мичо лишь бросил на нас заговорщицкий взгляд и вернулся домой, потирая замерзшие руки.

Но вскоре после Лукаса погибли и другие собаки: пекинес госпожи Талич, бульдог из запущенного двора рядом со школой, некрасивая борзая моей соседки. Меньше чем через семь дней в нашем населенном пункте не осталось собак — их заменили маленькие несуразные могилки и печальное мяуканье ничейных кошек. Даже господин Мичо перестал шутить. Просто помахивал нам рукой, когда мы возвращались из школы, а он возился со своей любимой «Ладой».

Мы шли к заброшенной фабрике соков, пробираясь в резиновых сапогах через сугробы на тротуарах. Это была та суровая зима накануне твоего одиннадцатого дня рождения. Ты получила менструацию и новое имя, а я, хотя и была на восемь месяцев тебя старше, — ничего.

«А тебе больно?» — спросила я осторожно.

Ты пожала плечами, давая понять, что такое невозможно объяснить нам — сухим девочкам. Ты была другой. В твоем поведении была своего рода неприкосновенная мудрость, подразумевающая, что ты ведешь, а я сопровождаю, как будто мы принадлежим к разным отрядам приматов. Кровь дала тебе власть над всеми нашими решениями — куда идти, что делать и как себя вести. Я попыталась тебе напомнить, что *я* старше и, соответственно, должна отвечать за нас обеих, но для тебя кровь была по иерархии выше, чем просто возраст. А когда я сказала, что твое новое имя не настоящее, потому что на самом деле у тебя есть другое, ты и глазом не моргнула.

«Ты со своим тоже не родилась, — сказала ты. — Ты его только потом получила».

До вчерашнего дня ты была Лейлой, без крови и чистая, как и я. Сейчас в нашу дружбу влезла эта проклятая Лела, у которой есть менструация и которая не хочет мне про нее объяснить. Я ее ненавидела. Твоя мать кухонным ножом устранила букву *г* из вашей фамилии на входной двери и приклеила на ее место букву *р*. Она была латунной и, новехонькая, блестела в середине твоей фамилии, унижая остальные буквы. Ты стала Лелой Берич, просто так, как будто это возможно

без того, чтобы кого-то о чем-то спрашивать. Я попыталась уговорить родителей переименовать меня в Дженет. Я была бы популярна в школе так же, как Джексон в том черно-белом клипе, когда она появляется в стеклянной двери, а все вокруг теряют дар речи. Ты бы умерла от зависти. Мать, однако, сказала, чтобы я не болтала глупости, дженет — это мусульманский рай, я что, хочу, чтобы кто-нибудь переломал мне кости, я что, ненормальная?

«Скажи мне. Это очень больно?» — настаивала я.

«Ну, так… как будто у тебя в животе какой-то шар и он давит».

«А много… ну, крови?»

«Немного»

«Сколько?»

«Не знаю, может, стакан».

«Стакан для сока или стопка для ракии?»

«Как ты мне надоела, Сара! Откуда я знаю? Хочешь посмотреть?» Я тут же замотала головой, так энергично, как могла. Днем раньше, когда Митар порезал палец и заплакал посреди урока математики, ты сказала ему, что он бедненький, но у тебя кровотечение в десять раз больше, а ты не плачешь. Тебя выгнали с урока. Поэтому

я знала, что ты могла бы там, за зданием фабрики соков, снять колготки и трусы и показать мне свою кровь. Я быстро сменила тему.

«Что тебе сказал Армин?» — спросила я.

«Ничего»

«А ты ему сказала, что у меня еще ничего нет?»

«Матерь милосердная, с чего бы мне ему это говорить? Какое ему дело до моих подруг?»

«Ну, я просто спрашиваю… Но ты ему не говори».

«А что мне ему говорить?»

«Неважно. Только не говори ему. О'кей?»

«О'кей, Сара… Я и не собиралась».

Ты бы этого не поняла. Это твой брат. А я хотела тебе рассказать. О том, что произошло под вашей черешней в тот день, когда умер сеттер господина Радмана. Я пришла за своей тетрадью по Закону Божьему, из которой ты переписывала молитвы, потому что ты не посещала эти уроки. Тебе каким-то чудом удалось избегать Закона Божьего, который всем остальным приходилось терпеть два раза в неделю. А потом тебе, загадочно и незаконно, вдруг дали новое имя, и преподаватель сказал, что ты можешь к нам присоединиться, после того как усвоишь пройденный материал. Я, по правде говоря, не хотела, чтобы ты ходила

на Закон Божий. Это был единственный предмет без тебя, что-то настоящее и только мое. А теперь все закончится. Полчаса за переписыванием моих молитв — и дело в шляпе. Придешь на урок и будешь знать все то же, что и я. Какое там, будешь знать даже больше, потому что я упускаю какие-то мелочи, скрытые значения, а у тебя от природы есть для них сенсоры.

«Что значит *чрево*?» — спросила ты меня на большой перемене, растерянно глядя на молитву из моей тетради.

«Откуда я знаю?»

«Разве вам учитель не объяснял?»

«Нет, — ответила я. — Ты просто выучи наизусть — и готово дело».

«И это… — Она перелистнула несколько страниц и прочитала: — *Видимого всего и невидимого*. Что это за невидимое? Воздух? Внутренние органы?»

«Если ты хочешь ходить на Закон Божий, тебе нужно прекратить задавать дурацкие вопросы, — сказала я, а ты закатила глаза. — И прошу вернуть мне тетрадь до выходных».

Последняя просьба, разумеется, была полностью проигнорирована. Мне не нужна была тетрадь, ты могла вернуть ее мне в школе. Но

я боялась, что ты, если проведешь слишком много времени читая молитвы, придешь на урок и будешь делать вид, что очень умна. Поэтому я решила пойти к тебе без приглашения и потребовать тетрадь назад, холодно и гордо, как какая-нибудь несгибаемая мученица.

У вашего дома был общий забор с учителем биологии, от которого разило грушевой ракией и который любил теребить и трепать твои косы. Я смотрела на его маленькое окно, пока открывала твою калитку — ржавый механизм, с которым я и в полночь могла справиться одной рукой. Как-то раз он, эта пьяная жаба, сказал мне, что я должна брать пример с тебя, после того как поставил мне в дневнике тройку по биологии. От калитки до ваших дверей было всего десяток шагов, но этого хватило, чтобы я вспомнила все причины, по которым была зла на тебя: учитель биологии, Закон Божий, моя тетрадь, которую ты должна была как минимум вернуть *мне*, и это прилепленное блестящее *р*, которое издевалось надо мной с поддельной фамилии на вашей входной двери, — все это заставило меня вместо легкого стука три раза ударить кулаком по двери.

Армин открыл так быстро, что я подумала,

а вдруг он все время стоял перед дверью и наблюдал через глазок, как я злюсь? Стоило мне его увидеть, я сразу забыла, на что злилась, — его присутствие напомнило мне, почему по-прежнему есть смысл быть твоей подругой. Я могла бы прийти когда угодно, открыть калитку, сделать десять шагов по двору и постучать, потому что ты и я, в конце концов, самые близкие подруги. А он будет тут, он и его ладони, испачканные красками, кончик среднего пальца левой руки, отекший и черный из-за того, что постоянно держит толстый фломастер для эскизов. Каким невероятным казалось мне тогда то, что у кого-то есть брат, который живет, ходит, ест и спит там же, в том же месте, что и ты, кто-то, кто тебе не отец, не мать, не товарищ, кто тебя знает лучше всех, хотя ничего о тебе и не знает.

«Лейла ушла на шахматы», — сказал он мне.

«У нее моя тетрадь по закону божьему», — объяснила я серьезно, как только могла.

В доме стояла тишина, ваша мать была на работе. Армин и я вместе вошли в твою комнату. Я была там сто раз, но без тебя комната выглядела иначе. При нем мне было стыдно из-за твоего беспорядка, как будто это каким-то образом бросает тень и на меня, потому что мы подруги и одного

возраста.

Помню большой плакат с Дженет Джексон, который ты позже заменишь зеркалом, помню вывернутые наизнанку пижамные штаны, растянувшиеся на смятом постельном белье, как уличный бродяга, помню, что под твоим письменным столом опасно покачивалась башня из комиксов, от которой нам перед поступлением придется избавиться ради душевного равновесия твоей печальной матери, помню шахматного коня на твоей полке, где несколькими годами позже появится фотография Армина на пляже, помню и то, что два носка, один клетчатый, другой белый, сидели на стуле, охраняя твой престол от нежелательного узурпатора.

Мне хотелось выйти оттуда как можно скорее. В хаосе на твоем письменном столе Армин нашел мою растрепанную тетрадь и протянул мне. В рубашке и брюках он был похож на вашего отца — или, по крайней мере, на фотографию вашего отца на горке с фарфором. Его глаза блуждали по твоей комнате без всякой реакции, иногда останавливаясь на моем высоко завязанном «хвосте». Я хотела запомнить его таким — отглаженным и спокойным, — чтобы слова моего отца были посрамлены и разбиты

этими неоспоримыми доказательствами.

Папа сказал, что, вероятно, это Армин и *его хулиганье* отравили соседских собак. Сказал, что сформировалась какая-то банда, что одного из них уже задержали за рисунки на фасадах и что они шляются туда-сюда, как бездомные псы, и неизвестно чем занимаются.

«Теперь его зовут Мар-ко Бе-рич, к вашему сведению, он больше не Армин», — добавила, нахмурившись, моя мать, как будто в первый раз услышала, что кого-то зовут Марко, передавая отцу через стол золотистую курятину.

«Марко Берич», — повторил с отвращением отец и взял с блюда еще одну жирную куриную ножку. Обгладывал он ее, по-прежнему нахмурившись, а я не решалась ни возразить ему, ни спросить, с чего бы Армину было травить чью-то собаку. Я ничего не сделала, Лейла. Я молчала и ела.

«Это та?» — спросил меня Армин, глядя на тетрадь так, будто впервые видит предмет такого рода. Теперь мне следует уйти, подумала я. Но мне не хотелось. Мне понравилось то, как он на меня смотрел, будто и мне шестнадцать лет и у меня есть менструация. На твоем письменном столе, рядом с маленькой фиолетовой настольной лам-

пой без лампочки, лежала жемчужная сережка. Я схватила ее и сунула в карман, пока Армин не видел, настолько автоматически и точно, словно в этом и заключалась цель моего визита.

«Можно я выйду во двор? Мне кажется, я потеряла сережку, там, под черешней», — соврала я.

Про себя я уже придумывала способы, как тебе это пересказать, чтобы объяснить исчезновение твоей сережки, одновременно понимая, что никогда не смогу это сделать, потому что ты все поймешь. Прочитаешь меня как телефонную книгу и больше не позволишь приходить к тебе. А ведь мне придется, правда? Мне нужно будет дать какое-то объяснение. Что, если ты скажешь им, маме и Армину, за ужином, что не можешь найти свою сережку? Что, если твой брат узнает, что я обманщица, у которой даже менструации-то нет?

Я шла за ним путем, который ведет за ваш дом, сережка в моей потной ладони стала горячей, я была уверена, что через маленькое окно дома напротив за мной наблюдает вонючий учитель биологии. Этот увидит все, подумала я. Выдаст меня, подлый боров.

Армин шел прямо, по-взрослому, а я за его спиной делалась позорно маленькой. Держал руки

в карманах брюк. Волосы у него были как твои — темные, нечесаные, как будто кто-то их забыл на его голове. Когда мы дошли до старой черешни, он достал из кармана сигареты и закурил одну.

«Это же вредно для здоровья!» — вырвалось у меня, и в тот же миг я пожалела. Какой же дурой я могу быть!

«Вредно для здоровья маленькой девочке завязывать хвост».

«Неправда. Это ты выдумал».

Он улыбался, как будто ему была очевидна какая-то шутка, которая от меня ускользнула. Я попыталась понять, что происходит. Я сказала неправду — и сейчас я с Арминой. *С* Арминой. Я в его дворе, в вашем дворе, и мы разговариваем. У нас *разговор*.

«Кроме того, я не *маленькая девочка*».

Тогда он и сделал это, то, о чем я никогда тебе не сказала, даже много лет спустя, когда мы похоронили Зекана и когда никто больше не помнил о той сережке. Я тебе никогда не призналась, что той зимой, когда у тебя началась менструация, твой брат распустил мне волосы. Он приблизился ко мне настолько, что я могла рассмотреть шрам на его щеке. Когда-то давно ты сказала, что это у него после падения с велосипеда, он вернулся

домой весь в крови, а твоя мать причитала, что он такой незрелый, имея в виду, что в доме он единственный мужчина, должен быть осторожнее. Сейчас шрам оказался невероятно близко от меня, поднимись я на цыпочки, могла бы прикоснуться к нему языком. Никогда раньше я не была в такой близости от мужской рубашки. Она была чистой и подкрахмаленной, пахла лимоном. Отец носил полицейскую форму и не позволял нам даже прикоснуться к нему перед уходом на работу, чтобы ничего не помять. Сейчас я могла изучать ее нити, *мужской рубашки*. Она была мягкой, хотя я и не могла до нее дотронуться. Мягкой для глаз. Армин, с сигаретой во рту (дым лез мне в глаза, но я не хотела их закрывать), прищурился, будто решал, какой шахматный ход сделать теперь, и обеими руками потянулся к моей резинке для волос. Склонился надо мной, как дерево. Стянул с моей головы бандану и развязал «хвост». Он был нежен, словно ему не впервой делать такое. Волосы рассыпались вокруг головы. А я подумала, что мне не двенадцать, а сто двенадцать лет и что весь этот век я провела, ожидая, что Армин Бегич распустит мои волосы.

Он отошел на несколько шагов и прислонился к дереву, чтобы лучше рассмотреть меня. В тот

момент он был настолько похож на тебя, что мне стало неприятно.

«Видишь. Так лучше. Как Венера».

«Как что?» — спросила я. Но он только бросил сигарету, загасил ее подошвой и посмотрел в траву.

«Где эта твоя сережка?»

Я по-быстрому пригладила волосы потными ладонями, пока он был занят поисками моей лжи среди клевера. Во всей этой кутерьме я забыла про сережку в своем кармане. Хотела достать ее и бросить в траву, и тут сзади раздался твой голос:

«Ты только посмотри на них!»

Я чувствовала себя так, как будто стою в вашем дворе голая. Медленно повернулась, стараясь расправить растрепанные волосы за ушами, и встретилась с твоим взглядом. Ты стояла, прислонившись к дому, с тремя бананами в руке и, прищурившись, подозрительно смотрела на нас.

«Как Адам и Ева», — сказала ты.

Я показала тебе язык. Вы улыбались, как будто знаете все, что можно знать на этом свете и что я никогда не выучу. Вы были одинаковыми: кривая улыбка, низкие брови, плечи, как у орла-стервятника, под торчащим темным кустом

волос. Непередаваемая мудрость в темных глазах, знание, перед которым я всегда останусь маленькой. Вы были одинаковыми, но все-таки ты не была такой нежной. Ты вырывала, толкала, била и отталкивала ногой. Ты истекала кровью. Как какая-то уменьшенная и звериная версия Армина. Я стояла на вашей территории, бессмысленно, как светофор посреди леса. Я посмотрела вверх, на периферии зрения что-то мелькнуло. Учитель биологии вышел на балкон развесить свое неказистое белье. Он смотрел прямо на меня, как будто все знал.]

4.

Не могу, даже ради истории — ее истории, — вспомнить, как я нашла маленький этноресторан, в котором она работала. Помню только, что Мостар сверкал, как полированная джезва, хотя день был необъяснимо хмурым, несмотря на невыносимую жару. Помню туристов и их синтетические зонты от солнца. Они были раскрыты по всему Старому мосту, как венок из пластмассовых цветов на каком-нибудь важном кладбище.

Я увидела ее до того, как поняла, что смотрю на нее. Перед низкими деревянными воротами ресторана пара розовокожих туристов фотографировала официанток в национальных костюмах. Одна из них вытянула губы и послала неслышный поцелуй в айфон толстой австрийки. Другая, с улыбкой, автоматически скроенной для фотографии, смотрела вниз, на двух толстых кошек, которые прямо возле ее деревянных шлепанцев наслаждались брошенным ребром какого-то менее удачливого животного. Она наблюдал за ними так, будто завидует, что они на полу, с набитым пузом и с жирными усами,

совсем голые, в то время как она парится в роли жены бега, одетой в наряды трех разных веков. Худоватые ноги вырисовывались под тяжелыми пастельно-голубыми шароварами, расшитыми золотыми нитями. Под белой рубашкой из плотного хлопка проглядывал красный бюстгальтер фирмы «Вандербра» — она забыла застегнуть украшенную вышивкой безрукавку и тем самым допустила хронологическую небрежность. Коса из обесцвеченных волос, забранная вверх, поднималась по фиолетовому бархату и исчезала под красной феской, с которой свисал измятый платочек. Стояла вот так, очарованная этими дворовыми кошками, как «Космополитен»-версия «Ханы Пехливаны»[2], без чадры, без своего капитана, без стихов, а вокруг нее припрыгивали мелкие официанты-беги, официанты-торговцы, с парижскими шницелями и жареной картошкой на круглых резных подносах. Тогда я ее узнала. Красные губы в улыбке, скроенной для случайного фотоаппарата, мелкие родинки совсем рядом со слишком обильно накрашенным глазом, вдруг поднятый локоть, чтобы энергично почесать подмышку под потным хлопком — это

[2] Сноски: 2

«Хана Пехливана» — песня боснийских мусульман в жанре севдалинки — любовного городского фольклора.

была она, это была Лейла, по-прежнему роскошная под вульгарным реквизитом, по-прежнему упрямая и потная и из *этого* века, несмотря на все предыдущие, которые ей навалили на плечи. Это была *она*, как в тот день на пляже. И несмотря на мои дублинские джинсы за семь евро, и моего Майкла в джемпере с ромбами, и на мои с трудом сэкономленные деньги в далеком банке, мою поэзию и прозу, я опять была готова стать всего лишь рабыней Кумрией[3], напялить на себя синтетическую вышитую безрукавку или опоясаться красным шелком из китайской лавочки, да даже превратиться в толстую кошку перед ее деревянными шлепанцами, только бы она ко мне обратилась, наполнила мои уши нами, такими, какими мы были когда-то, под той черешней или рядом с вонючей рекой, сказала бы мне, что хватит, что пришло время прекратить кривляться, а иначе она обглодает мне ребро за ребром перед всеми этими проклятыми туристами. Я представила себе свою кровь на ее рубашке из какого-то прошлого века. А она все смотрела на этих упитанных кошек, белокосая женщина в бутафорских шароварах.

---

[3] Сноски: 3
Служанка Ханы Пехливаны из песни.

Я села в кафе, напротив ресторана, в котором она работала, и заказала кофе. На поверхности моего сменившего конфессию языка собирались крупинки терпкого осадка. Я уже и забыла вкус нашего кофе, боснийского кофе, турецкого кофе, домашнего кофе — как его ни назови, вкус всегда одинаковый. В Дублине я пила двойной эспрессо, между мной и зернами существовала дистанция, целый механизм, целью которого было убить воспоминание о стране, в которой этот кофе вырос. Я знала бариста, со стен модных кафетериев свисали их дипломы цвета сепии, напечатанные дорогим дизайнерским шрифтом — все это для того, чтобы перевести дикий язык необработанного кофе моему якобы утонченному нёбу. Но тот финджан в Мостаре встретил меня как гордая прачка встречает свою распущенную дочку, которая возвращается домой с вечеринки: он напомнил мне, откуда я и где мое место. *Это* был кофе, а не дорого продаваемая открытка из Колумбии.

Несмотря на всех туристов, шлявшихся по булыжной мостовой и оставлявших жирные следы от пальцев на керамических сувенирах, до меня доносился наш язык: местами неестественный, вывихнутый мягким произношением, а местами

совсем мой, позорно и бесповоротно мой, с обгрызенными согласными и растянутой иекавицей. Со мной бывало, во время моих *европейских путешествий* (как позже издевательски обзовет их Лейла), что в углу какого-нибудь торгового центра или при входе в метрополитен я услышу *наше* слово. «Может быть, — сказал бы какой-нибудь иностранец, глядя в развернутую карту, — а ты уверен?» — или что-нибудь похожее. Я в такие моменты неприятной узнаваемости пряталась за своим громоздким телефоном или газетой в страхе, что такой *наш человек* меня распознает. Даже если просто бросит взгляд на мое лицо, он узнает, что я его поняла, обратится ко мне, сделает из меня *нашу женщину*, там — перед всеми. Но сейчас было иначе, *наш язык* был повсюду, а английский, французский или немецкий могли лишь боязливо пробраться через узкий проход между двумя передненёбными согласными. Меня окружили слова, от которых я уже очистилась, как человек, который с трудом отказался от сигарет, а потом оказался закрыт в помещении для курильщиков.

На маленьком металлическом подносе стоял горький кофе и лежало два кубика сахара. Эта картина напомнила мне о маме, крупной

и тихой, как она своими полными пальцами кладет кусочек сахара себе на язык, прежде чем наполнить рот кофе. Иногда действие растягивалось — рот ее оставался открытым, пока желеобразная рука отправлялась в долгий путь за чашечкой, и я видела, как сахар начинает таять в соприкосновении с ее темным языком. Я перехватывала взгляд отца — зачем ей еще один кусочек сахара, ей нужно следить за весом, она раздалась, как свадебный шатер. Я никогда не ела сладости в его присутствии. Боялась, что однажды он так посмотрит и на меня.

Лейла меня не видела. Стояла там, у входа, напротив, часами приветствуя туристов, своим длинным меню соблазняя их войти в ресторан. Ее губы шевелились от названий шницелей и супов. В какой-то момент она вдруг исчезла из моего поля зрения — я была готова перебежать через улицу и убедиться, что она не удрала, — но она быстро вернулась с освеженным макияжем и без платка на феске. В конце смены она пошла внутрь переодеться, чем я воспользовалась, чтобы заплатить за литр кофе и три куска картофельной питы, которые заказала скорее для оправдания своего неприлично долгого сидения, чем от голода.

Когда она снова появилась, на ней были линялые джинсы, драные на коленях, и широкая рубашка в сине-белую полоску. Коса и макияж остались, деревянные шлепанцы девятнадцатого века сменили ортопедические кроссовки на липучках фирмы «Рози». В ее прозрачные шаровары влезла низкорослая особа с красными волосами и кривыми зубами. Она смеялась чему-то, что говорила ей Лейла. *Моя* Лейла. У нее по-прежнему была привычка подворачивать ступню, когда она стоит на тротуаре и с кем-то разговаривает, — я видела ее щиколотку, сустав, опасно торчащий в неестественном положении, как у травмированной балерины.

Я стояла на другой стороне, напротив, не могла перейти улицу. По сравнению с ее белыми волосами и длинными голубыми ногтями я, в своих черных джинсах и застиранной желтой футболке, была старой и скучной. Как-то раз, на первом курсе она сказала, что мои старания выглядеть неброской очень бросаются в глаза. В тот момент ко мне вернулись бессмысленные, мелкие воспоминания. Та ночь, которую я проспала у нее — это было в школьные годы, — из-за того, что папа ударил маму по щеке. Я вспомнила, как она как-то раз лизнула мне глаз в ночном клубе,

потому что пылинка грозила уничтожить весь мой макияж. Вспомнила ее черные волосы, как они плавают по поверхности Адриатики.

Я вытянула ручку из своего чемодана на колесиках и зашагала через улицу. В этот момент сверкающий черный джип с иностранными номерами чуть не положил конец моим страданиям. Тормознул он буквально рядом со мной и с таким громким сигналом, что все застыло — официанты замерли с подносами, сувениры перестали позвякивать, даже кошки, те самые, посмотрели на меня. Тогда она меня увидела. Закатила глаза и сказала: «О боже, какая идиотка», — как будто мы с ней разошлись утром после завтрака, а не двенадцать лет назад. Разъяренному датчанину она махнула, чтобы тот отъехал — «Что ты застыл здесь как памятник», — и все вернулось к норме: официанты, продавщицы открыток, кофемашина. Все заработало после одного-единственного жеста Лейлы Бегич. Она перешла улицу, остановилась передо мной и смерила взглядом с головы до пят. Я чувствовала себя так, будто меня прислали из транспортного агентства и сейчас она проверяет, смогу ли я быть ей полезна.

«У тебя права есть?» — спросила она. После «вали к ебеной матери». После начальной и сред-

ней школы, университета, закопанного Зайца. После половины жизни, если не всей — есть ли у меня права.

«Добрый день, как дела, чем занимаешься, у тебя все в порядке, как там твои», — сказала я, хотя мне было ясно, что мы никогда не были склонны к пустым разговорам. Она закатила глаза. Только когда она подняла их на меня, до меня дошло, что глаза у нее темно-синие. Она носила цветные контактные линзы.

«Что у тебя с глазами?» — спросила я.

«Сара».

«Нет, серьезно. Зачем тебе эта гадость?»

Когда я в третьем классе начальной школы появилась на уроке в очках, она спросила меня то же самое. Тогда я ей объяснила законы миопии, которые ей, видевшей пятна на Юпитере, показались абсолютно нелогичными. Если я близорука, то это, должно быть, моя ошибка.

«Какое твое дело, что я ношу в своем глазу? — спросила она. — У тебя права есть?»

«Есть», — ответила я.

Конец средней школы — мы напились после того, как я, с первой же попытки, сдала на права. Я вспомнила, что она мне сказала той ночью: «Так их получить может только полицейская

дочка, а мы, простые смертные, сдаем по четыре-пять раз, пока нас не выдоят, как коров».

«У тебя международные?» — спросила она.

«Международные. Барышня еще чего-то желает? Может, анализ крови?»

Она криво улыбнулась и снова посмотрела на меня.

«А ты худая», — сказала она.

«И ты худая, — ответила я, — и у тебя белые волосы и синие глаза».

«И муж», — добавила она, а потом резко устремилась вниз по улице, болтая какую-то чушь о регистрации автомобиля, и экономии, и еще бог знает о чем.

Я шла рядом с ней молча, таща свой чемодан по каким-то улицам, которые, неизвестно когда стали ее улицами. Она обходила выбоины на тротуарах и отвалившиеся бордюрные камни с привычностью настоящей мостарки. Я едва поспевала за ней, уставшая от автобуса и псевдомайского дня, который был таким туманным, каким бывают дни перед зимой. Я старалась изо всех сил не наслаждаться тем, что мы с ней одни и у нас снова есть свой план.

Перед каким-то домом, который неизвестно когда превратился в ее дом, ждал тип с красным

чемоданом. Он был высоким и необъятным, с широкими бицепсами, на которых были вытатуированы бледные сердца и трайблы. Молодой и с залысинами, он уже приобрел отцовскую морщину между лохматыми бровями. Муж, предположила я.

«Дино — Сара, Сара — Дино», — сказала Лейла, будто читая скучное расписание поезда, сняла ключи с его толстого большого пальца и надавила на кнопку, чтобы открыть дверь машины. Перед домом были припаркованы автомобили, один из которых, белая «Астра», пропел под давлением.

Мы с Дино немо стояли перед домом, не зная, как себя вести друг с другом. Единственное, что нас в жизни связывало, была эта худая женщина, которая открывает багажник — слишком мало для непринужденного диалога, но достаточно для нашего общего страха. Как будто мы в разное время побывали в заключении в одной тюрьме. В его глазах не было никакой нежности к подруге детства Лейлы, никакого выражения наконец-то-я-познакомился-с-Сарой. Для этого человека я точно была никто. Даже хуже — никто, которое увезет из страны, от него, жену.

Лейла быстро вернулась к нам и указала синим

ногтем на чемодан перед шлепанцами своего огромного мужа. «Дино, не мог бы ты…»

Не успела она закончить фразу, как мужчина-див поднял багаж и отнес его к багажнику, куда и уложил, нежно, но серьезно, словно опуская гроб в могилу. Я подумала о Майкле и о том, что он в это утро прислал мне фотографию своих ступней. В сандалиях у него изжарились ноги. Я ему ответила знаками:

(: <3:*

Дино вернулся, без вопросов взял и мой чемодан и отнес его к «Астре».

«Не влезет», — сказал он, пытаясь решить проблему, как будто речь шла о непонятной арифметической теореме. Было сразу видно, что он из тех мужчин, которые наслаждаются такими задачами — уложить чемоданы в багажник, починить водопроводный кран, заменить камеру на велосипеде, — приступая к ним с серьезностью самозабвенного ученого, чтобы таким образом проявить и оправдать назначение своего гигантского тела, не вызывающее никаких сомнений.

Лейла подошла к нему и, сделав несколько движений худыми руками, сумела решить проблему чемоданов и багажника — горизонтальное стало вертикальным, плед перебрался на заднее

сиденье, пляжный матрац был и вовсе изгнан. Она было собралась избавиться от теннисной ракетки, но почему-то передумала и все-таки оставила ее на пледе. Пока она переставляла мой чемодан, на правой руке я заметила обручальное кольцо. Оно было золотым, широким и слишком большим. Если бы не узловатые суставы, кольцо соскользнуло бы с Лейлиного пальца.

Прощание было долгим и слишком неумеренным. Я сидела за рулем и наблюдала за ними через зеркало заднего вида. Она повисла у него на шее, поднявшись на цыпочки. Он ее погладил по спине, потом по заднице. Она что-то ему сказала. Поцеловала его. Он вытер глаза — то ли от пота, то ли от слез — не поняла. Тем дело и кончилось. Она села в машину и тоном контролирующего себя параноика велела мне ехать, как будто Дино, если мы немедленно не уедем, поймет что-то ужасное и нас остановит. Но я не могла повернуть ключ. Что-то во мне трепетало, напуганное дорогой, которая нас ожидала. Я повернулась к ней и шепнула, хотя никто не мог нас услышать: «Он… Понимаешь… С ним все хорошо? Там, в Вене?»

Лейла сжала своими горячими ладонями мои щеки и едва заметно улыбнулась. Из-под ее агрес-

сивно накрашенного лица наконец-то, пусть на миг, появилась та девочка, вместе с которой я когда-то решала задачу. Она, будто и сама не способная произнести его имя, чуть кивнула, а я в тот же момент почувствовала, как у меня от этого подтверждения задрожал подбородок. Во мне поднимался плач новорожденного, который впервые наполняет легкие кислородом.

«И на самом деле глупо плакать, раз он нас ждет», — нежно сказала она, а я молча выслушала ее, быстро кивнула и проглотила слезы. Завела машину и включила первую. Я была готова.

Десять минут спустя она уже пыталась, сидя сзади, переодеться в шорты и минимальную майку. При неловких попытках ее длинные ноги толкали мое сиденье, колени ударялись о двери, руки высовывались из окон, а голова оказывалась под крышей автомобиля. Мне на колени упал ее лифчик.

«Неужели ты не могла переодеться дома?» — спросила я, пытаясь прочитать дорожные указатели на выезде из Мостара и освободиться от ее белья.

«Дино не выпустил бы меня в этом из дома».

«Он знает, что мы едем в Вену?»

Она пожала плечами, но я не знала, как это

истолковать. В зеркале заднего вида на миг мелькнуло что-то зеленое — огромный синяк на торчащих ребрах, — который тут же исчез под майкой. Я видела синяки и на ее плече: чьи-то большие пальцы оставили на коже Лейлы вишневый след. И правый висок — не был ли он темнее левого, несмотря на всю пудру, которая его искусно маскировала? Я не спрашивала, откуда все эти синяки. Право на молчание в нашей дружбе всегда было важнее, чем право на вопросы. Я соблюдала это правило даже двенадцать лет спустя — когда больше не была уверена в существовании какой бы то ни было дружбы между нами.

Переодевшись, она протиснулась между спинкой своего сиденья и переключателем скоростей, скорее голая, чем одетая. Потом сняла с правой руки обручальное кольцо и привязала его к шнурку от освежителя воздуха, который свисал с зеркала заднего вида. Я расхохоталась.

«Кто-то должен написать о тебе книгу», — сказала я и включила четвертую.

«Можешь ты, — ответила она. А потом добавила: — Когда подрастешь».

Не знаю, кто мне сказал. Сейчас мне кажется, что всегда было так. Никогда и не существовало

чего-то *до* этого знания. Армин исчез, после того как перемерли все собаки. После того как распустил мне волосы. После твоей менструации. Превратился из живого человека в последнюю фотографию. Он, ты и я в вашем дворе, рядом с черешней, твоя сережка в моем кармане. Я не знала, что, окруженная травой, табачным дымом и своими растрепанными волосами, уже стою в будущем воспоминании. Я больше не помню, что на мне было надето, о чем мы потом разговаривали, попрощалась ли я с вами перед тем, как пошла домой. Не помню, потому что никто мне не сказал все это запомнить. Каждый раз я теряю по кусочку этой фотографии: исчезает клевер, исчезают дома на заднем плане, исчезает белье с балкона. Армин останется в этом упрощенном дворе неизменившимся — шестнадцатилетний парень, который ищет в клевере несуществующую сережку. Любое воспоминание о нем до того события немедленно отравлялось этим новым знанием. Каждый Армин из «до того» — тот, что с твоего седьмого дня рождения, тот, что в твоей комнате, тот, что стоит под черешней, — стал Армином, которого не будет.

Не помню, как я узнала. Это, впрочем, и неважно. Помню только, что город был другим, как

будто из него кто-то высосал все соки и оставил его засыхать на траве. Было все больше темноты, все больше отмененных уроков, все больше молитв в ежедневных газетах. Было все меньше журналов, все меньше музыки, все меньше еды. Темнота распространялась, словно нас облил ею какой-то злобный ребенок. У моих сограждан неожиданно сделались другие лица. Некоторые всего лишь один раз нахмурились и навсегда такими и остались. Другие совсем исчезли, удалились без большого шума. Позже я, бывало, врала иностранцам. Я была маленькая, говорила я, я не понимала, что происходило. А это не так. Мы знали, и ты, и я. Мы знали, что *началось*, что это начали. Знали мы и то, что это будет длиться. Вскоре оно стало константой, как дополнительный химический элемент в воздухе. Его было легко произнести, выпустить с языка как «доброе утро» или «спокойной ночи». Оно было повсюду: в липе за нашей школой, в детских рисунках на стене школьного туалета, в учителях, которые вдруг стали писать только кириллицей. Оно было и в тебе, в твоем новом имени и пустом лице. Оно соединилось с исчезновением Армина.

Ты все больше времени проводила дома, как цементом, огражденная страхом твоей матери.

Как-то утром вы нашли перед входной дверью дерьмо. Человеческое, гору. Ты говорила, что никогда не видела такую кучу в одном месте. «Кто-то действительно постарался». Но вам было безразлично. Армин унес с собой страх, неудобство и позор. Превратил их во второразрядные эмоции.

Я выдумывала оправдания, чтобы выйти в город. Целый год бродила где придется, хотя отец мне запрещал это. За оградой заброшенной фабрики соков я каждый день видела дух маленького трехцветного гончего пса Лукаса, он потерянно бродил и искал какую-нибудь кость. Мне он не мешал, встречать его во время моих безуспешных поисков было утешением. Он напоминал о том, что было раньше, о том, что *раньше* существует.

Я была уверена, что где-то увижу Армина, что буду той, кто его найдет и вернет. Как будто он сам не знал дорогу домой. Тогда я еще не хотела признавать, что наш город был слишком мал для чего-то подобного. Там люди не могли потеряться. Они только исчезали.

И еще одно воспоминание: день, когда я решила вернуть тебе украденную сережку. Когда я последний раз была здесь, Армин развязал мой «хвост» под вашей черешней. А теперь эта пусто-

та. Калитка, которая вдруг стала другой калиткой, и маленькая дорожка к вашей входной двери, за которой разверзся необъятный вакуум. Открыла мне ты, велела разуться. Снег, как и всегда, был грязным и полурастаявшим. Я молча послушалась и вошла в темный коридор. Отсутствие Армина заполняло пространство больше, чем когда бы то ни было раньше заполняло его присутствие. Как будто бы кто-то опустил потолок на незаметные пять сантиметров, а стены молча приблизились одна к другой в течение ночи.

Я заметила, что и в вашем коридоре, и в гостиной стало гораздо меньше вещей: исчез большой гобелен с двумя оленями, исчезли высокие деревянные часы над телевизором, а потом и телевизор. Вы продали почти все, что имели, включая тарелки с пестрыми квадратиками, с которых я когда-то ела твои именинные торты. Вы продали и большинство твоих барби, осталась только одна — врачиха, с черными волосами. Но тебе это было неважно: барби, как и эмоции, стали оскорбительными.

Твоя мать надевала черное платье, когда выходила в город, и черный тренировочный костюм, когда была дома. Он был блеклым — тот ее траур, — казалось, что кто-то нарисовал ее

карандашом. А ты носила свои пестрые треники и красные джемперы, как уменьшенная хроматическая версия своей матери. «Черное надевают, когда у тебя кто-то умер», — сказала ты. Я молча согласилась. Армин не мертв, просто он где-то в другом месте. Где-то, где не так темно.

Ты не носила траура, но в твоей комнате был порядок. Постель заправлена безупречно аккуратно. Плюшевый медведь в изголовье. Я впервые увидела ковер и цвет твоего письменного стола. В магнитофоне — какая-то кассета. «Нирвана». Это музыка Армина, хотела я сказать, но все-таки не сказала. Сейчас она была твоей, я видела это на твоем лице. Дженет Джексон исчезла. Ты повесила на стену на ее место большое прямоугольное зеркало, которое останется здесь навсегда или хотя бы до того *навсегда*, к которому я имею доступ — до смерти Зайца. Тогда его еще и в помине не было. Он родится позже в твоем рассказе, у какой-то деревенской бабы, мы увидим его в клетке господина Кралевича в то утро утраченной невинности, после выпускного, но все это нам пока не известно. Я стою в твоей комнате и не знаю, что однажды увижу нас в этом самом зеркале: после похорон Зекана мы сидим на коричневом диване и пьем вино. Сейчас мы

в нем маленькие, мерцающие, я без крови, ты без брата. Наша история, похоже, закончилась, а на самом деле она только начинается.

На полке еще нет книг, нет Црнянского, это придет позже. Сейчас здесь только одна новая фотография. Я подошла, чтобы ее получше рассмотреть. Армин в плавках, прислонившийся к какому-то шлагбауму. Бледная фотография — или эта бледность появилась позже? Не знаю. В кармане я нащупала твою сережку и вспомнила, зачем пришла. Нужно было ее вернуть тебе, я раскаивалась, что вообще ее взяла. Я не собиралась ее красть, я только хотела побыть еще несколько минут с Армином. А теперь его больше не было. Я не знала, как вернуть украденное украшение той, у кого пропал брат. Я стыдилась своего жалкого преступления.

Я провела тот год, таскаясь по улицам, покрытым грязью со снегом, с сережкой в кулаке, в ожидании менструации. Я была уверена, что кровь появится, как только я найду Армина. Так я думала тогда, вот так эпически и ограниченно, как делают только двенадцатилетние девочки. Но кровь, к моему разочарованию, появилась сама собой, липкая и болезненная, в разгар лета, при матери, слишком озабоченной ограниче-

ниями подачи электричества, чтобы мне что-то объяснить. Ты сказала «кровь как кровь» и пожала плечами. Теперь, когда кровь была у нас обеих, она больше не была чем-то особенным. Вещи обладали своими сверхъестественными свойствами, только если происходили с одной из нас. Тогда та, другая, могла нафантазировать то, чего ей не хватает. Сейчас мы должны были ждать следующего различия, которое нас одновременно и удалит друг от друга, и сблизит. Но все-таки ты заботилась обо мне, пока моя большая мать была занята редактированием журнала о лучшей жизни. Ты посоветовала, когда мне больно, жевать петрушку. Согреть тряпку у печи и приложить ее к почкам, под майкой. Напрячься утром на унитазе, чтобы вышло как можно больше *этого*. Ты мне сказала, что боль — это хорошо. Проблема — когда не болит и застигает тебя врасплох.

«Не только кровь, — сказала я тебе с отвращением на школьном дворе. — Там не все жидкое. Вылезает и еще что-то, такое вязкое…».

«Ну, разумеется».

«Разумеется — что?»

«Это частички. Из тебя, изнутри».

«Частички чего?»

«Того, где должен быть ребенок».

Я посмотрела на тебя изумленно. У тебя и твоей матери был *разговор*. Твоя мать — которая в разгар весны ходила в магазин в шлепанцах на деревянной подошве и вязаных носках, с волосатыми ногами и некрашеной головой. Она тебе рассказывала о младенцах, в то время как моя лишь молча пополняла запас толстых гигиенических прокладок в шкафчике под умывальником — там, куда папа никогда не заглядывает.

Моя мать — самая крупная на родительском собрании, отекшие ноги выпирают из бирюзовых ремешков сандалий — не села рядом с твоей, никто не сел. Как будто ее трагедия — вшивость. Позже она испекла пирог со шпинатом и велела мне отнести его *несчастной госпоже Берич*, хотя прекрасно знала, что фамилия не настоящая. Мне было стыдно. Я вывалила пирог в канаву, ту, что проходит вдоль забора разрушенной мечети, на полпути к тебе. Из кустов появились кошки: стая тощих, хромых и полуслепых кошек пришла съесть доброту моей матери. Одна, самая крупная, без половины хвоста и слепая на один глаз, хищно повернулась к моему беззащитному телу. Хотела меня убить, я видела это в ее глазу, но в последний момент передумала и занялась кускам пирога на земле. Я благодарно кивнула и молча

засунула пустую посудину в рюкзак. И пошла к реке, храбро сдерживая слезы. Я никогда тебе об этом не рассказывала, про кошек и пирог. Хранила эту тайну вместе со всеми другими, которые могли хоть немного тебя задеть. Не передала тебе слова, которые Милан Касапич сказал на уроке физкультуры, о том, что мусульмане подтирают задницу рукой. Не сказала тебе, что у тебя порвались колготки на святосавском концерте, только предложила нам встать в последнем ряду хора. Не рассказала и того, что говорил мой отец в тот день за столом, пока мы ужинали жилистым утиным мясом, как будто ничего не произошло.

«И неудивительно, знаешь ли, ведь парень-то был проблемным. Это был просто вопрос времени, когда произойдет какая-нибудь гадость».

«Молодой Берич?» — спросила моя мать, обгладывая ножку. От жира мелкие волоски над ее губой слиплись.

«Берич. Он такой же Берич, как я Мустафа. Его мать опять приходила в участок, сегодня».

«А что она хочет теперь?».

«Спрашивала, нет ли каких новостей… Как будто мы ебаный «Танюг».

«И что ты ей сказал?» — спросила моя мать, отрывая мясо с мертвой птицы.

«Что я ей скажу? У нас через полгода закрывают дело. Пусть радуется, что он не кончил как Хабдич. Такие сейчас времена, люди исчезают, что она думает? Что у нас такое в первый раз? Говорит: «Не надо так, товарищ начальник, наши дочери учатся вместе». Представляешь? Неужели я настолько непрофессионален, что все брошу и начну разыскивать этого дебила только потому, что ее дочь случайно сидит за одной партой с Сарой?»

«Ну надо же!» — сказала мама между двумя кусками.

«Но я ей высказал все, что у меня накопилось. То, про собак, и еще кое-что… Я все ей сказал, в присутствии всех наших из отделения. И Шушич был, и Тарабич. Все слышали, мне было что ей сказать».

«Серьезно?»

«Серьезно. Я, знаешь, не мог больше терпеть. Я ей сказал, что вся эта шпана, все, кто исчез, и Хабдич, и Шехич, и вся их компания (тут отец поднял утиную ножку как судебный молоток), шли первыми подозреваемыми по делу о преступлении против наших собак и что это был только вопрос времени, когда кто-нибудь сорвется и что-нибудь такое отхерачит. Так и сказал».

«А она что?» — спросила мама с гордостью.

«А что ей несчастной сказать, «*Мой Марко никогда бы не обидел никакое животное*», а еще и называет его Марко… Я ей сказал под конец, что мы сделаем еще несколько плакатов, хотя в наше время это совсем не так легко и не так дешево, ну да ладно, сделаем для нее — и пусть расклеит их везде, где хочет. Еле от нее отделались…»

Обглоданные кости они оставили на большом цветастом блюде, которое мама использовала по особым случаям. Что было в тот день? Годовщина брака? Окончание школы? Не знаю. Но это проклятое блюдо было оскорблением моему распущенному «хвосту».

«Ты ничего и не поела», — сказала мать с пренебрежением.

«И правильно. Сара у нас модель, ей ни к чему наедаться», — сказал отец и заговорщически подмигнул мне.

Мама на это закатила глаза и принялась убирать со стола.

«Поможешь мне или модель чем-то занята?»

Отец взял из моих рук палку и заковылял к дивану. *Ленивая нога*, так он ее называл. Или же *проклятая ленивая нога*, если его кто-то спрашивал, почему он не мобилизован.

«Если бы не эта ленивая нога, научил бы тебя твой папка ездить на велосипеде, это полезно для фигуры», — сказал он в тот день, когда школа устраивала велогонку. И: «Если бы не моя ленивая нога, ходил бы папка с тобой на рыбалку». И еще: «Если бы не моя проклятая ленивая нога, всех бы их твой папка урыл». Где-то существовал тот, другой отец, у которого обе ноги были безукоризненны, который учил меня ездить на велосипеде и ловить рыбу, который ходил на родительские собрания и потом, выйдя, вез меня домой и убивал *нехороших людей*. Может быть, тогда кто-то другой был бы начальником полиции, какой-нибудь бедняга без глаза, без пальца или без почки. Кто-то, кто нашел бы Армина. Другие отцы были там, в той темноте. Их дочерям присылали *благотворительные* посылки, в которых лежали ароматизированные салфетки из Норвегии и маленькие фотки с футболистами. Мой отец по-прежнему оставался здесь, сидел развалившись на нашем диване с большой чашкой зеленого чая в руке, потому что зеленый чай хорошо действует на метаболизм.

«Папка бы разделался с гадами, — говорил он, — но папка делает что может и где может, здесь, у нас, на своем месте. Папка делает что

может».

Мы с тобой верили, что Арман вернется, мы знали, что не он отравил собак. Мы думали, что люди найдут настоящего виновника и отдадут нам твоего брата, как только выявится правда. Мы были уверены в этом, даже когда холодная река однажды утром принесла к ивам за психиатрической клиникой посиневшее раздувшееся тело Озрена Хабдича вместе с пустыми картонными пакетами и банками из-под пива. В новостях не было ничего, хотя вся школа об этом говорила. Его нашли голым, шептали на большой перемене, и без этого самого. Я не решилась говорить с тобой об этом, рассказы о мертвом теле Озрена набухли между нами, как опухоль. А потом ты мне, лишь один раз, на уроке биологии, написала на полях страницы с изображением расчлененной лягушки: «*Армин не в реке, тогда бы он уже появился. Озрен был идиотом*». Я кивнула головой, и все. Армин умен. Он не в реке.

Мы были последними людьми на свете, которые знали, что он вернется. Мы ходили домой мимо каштанов, к которым были прибиты плакаты с улыбающимся лицом твоего брата. «Разыскивается Марко Берич», кириллицей. На одном из них кто-то красным фломастером

приписал «муслик». Но нам это было безразлично. Нас не интересовал Марко Берич. Мы знали, что Арман жив. Это знание сблизило нас больше, чем общая парта. Теперь нужно было обязательно остаться вместе до конца, до тех пор, пока твой брат снова не появится. Если мы поссоримся, если разойдемся, то с нами распорется и эта хрупкая уверенность. Словно в материю нашей дружбы была воткана вся его жизнь. Его больше не было нигде, ни в каком другом месте, кроме как здесь.]

5.

А потом — тишина. Ее ноги с шишковатыми коленями, все в сине-желтых синяках, засыпанные крошками чипсов, которые она умяла за две минуты, не предложив мне. Поблескивающее обручальное кольцо пляшет в воздухе между нашими головами. Мне хотелось что-то сделать — резко затормозить и через лобовое стекло послать ее наружу или просто где-то остановиться, взять свой чемодан и отправиться пешком по дороге. Я бы дошла и до Дубровника, если надо, пока она полностью не насладится своей гордостью и не крикнет мне вслед, тем самым подтвердив, что я ей нужна. Я не сделала ничего. Вела быстро, но аккуратно, в страхе, что меня что-то задержит, что мы никогда не доедем до Ябланицы, а тем более до Вены. Что Майкл навсегда останется босым.

Не знаю названий деревьев, помню только, что они молча смотрели, как мы несемся. Череда стволов, которые словно явились на наши похороны. Я не хотела останавливаться, хотя мне было нужно в туалет. Хотела что-нибудь сказать, но

оказалось, что застряла между двумя Лейлами — той, которую знала всю жизнь, которой однажды позволила сделать мне депиляцию бикини, и этой, чужой, с осветленными волосами, одетой как шлюха и надувающей пузыри из жвачки до таких размеров, что они лопаются у нее над носом. Не могу вспомнить и половины своего детства, а детали ее жизни помню с раздражающей ясностью. Голубая жвачка с запахом арбуза. Шрам на левом колене. Трещины на красных губах. Однажды она сказала, что писатели пишут потому, что у них нет собственных воспоминаний и они их выдумывают. Это было раньше, пока Заяц еще был жив, а мы только-только начали читать книги. Но она была неправа, по крайней мере отчасти. Для меня воспоминание, возможно, действительно, похоже на покрытое льдом озеро — мутное и скользкое, — но на его поверхности время от времени появляется трещина, через которую я могу просунуть руку и выхватить из холодной воды одну деталь, одно воспоминание. Но замерзшие озера коварны. Иногда схватишь рыбу — а в следующий раз свалишься и утонешь. По опыту знаю, что почти все воспоминания о ней имеют тенденцию к выбору второго варианта. Именно поэтому я двенадцать

лет старалась не вспоминать. Сработало. Невероятно, к сколь малой человечности мы можем себя свести, когда нам это полезно. Но в тот раз я ответила на звонок и произнесла ее имя. Вода была по-знакомому ледяной. В ее глубине виднелись трехголовые звери.

Нам бы нужно было оказаться где-нибудь в утробе Центральной Америки, в шикарном «Бьюике», или рассекать пространство России по Транссибирской магистрали. Тогда бы я могла назвать имена деревьев и маленьких городов, я бы их гуглила, чтобы казаться умнее, чем есть. Носила бы драные шорты и ковбойские сапоги или дорогущий костюм, как умные адвокатши в глупых сериалах. Ей не потребовалась бы вся эта косметика и все эти краски, ее волосы снова были бы блестящими, словно у ворона, глаза словно два чистых черных камешка, как тем летом на острове. Я могла бы утверждать, что наша история — это, в сущности, чертовски мощный роуд-трип и что по дороге мы слушали старых мастеров блюза, ели чизбургеры со специями и вели глубокомысленные разговоры с кучей символических перипетий. Но факты таковы, что в нашем случае были она, Босния и я, и что я не знала названий ни одного дерева из целой

череды тех, что молча смотрели на нас с обочины и пропускали дальше. Факт, что до Бугойно мы обменялись лишь несколькими неизбежными фразами — о еде и кому надо пописать, — наши темы никогда не выходили за рамки примитивных биологических мотивов. Факт и то, что *роуд-трип*-история имеет смысл только тогда, когда путешественники, пусть даже по ошибке, верят в какую-то цель, в конец путешествия, когда будут решены все проблемы и закончены все мучения. В Боснии цели нет, все шоссе на вид одинаково безжизненны, они ведут тебя по кругу даже тогда, когда тебе кажется, что ты движешься вперед. Поездка по Боснии требует иного измерения: космической петли времени, которая ведет не к какой-то находящейся вовне реальной точке, а в мрачные, почти непроходимые глубины твоего существа.

Жара вползла в машину, как неизлечимая болезнь, хотя солнце уже давно скрылось. Ноги отекли в неудобных джинсах. По сравнению с ней, охлаждающей себя пластмассовым веером, я была жирным пончиком. От нее пахло сахаром, жареным кофе и кровью. Один раз она попыталась найти что-то по радио, но репертуар ее нервировал, и в конце концов она выклю-

чила приемник. Я не решалась спросить, нет ли в машине какой-нибудь кассеты. И не могла заставить себя начать разговор. С некоторыми людьми спустя тьму лет и разговоров, которые у тебя с ними были, невозможно болтать просто так. Меня грызло желание спросить у нее, почему Армин в Вене, где он был все эти годы, почему не давал о себе знать. Действительно ли он отравил собак? Однако я опасалась, что у меня нет права на дополнительные вопросы, что я ее испугаю и она отдалится от меня, найдет кого-то другого, кто отвезет ее к ее брату, местонахождение которого для меня навсегда останется тайной. Чтобы доехать до ответа, я должна соблюдать ее правила. Армин жив, и я его увижу. Привезу к нему Лейлу, крашеную и замужнюю, но все-таки Лейлу. И тогда наконец-то смогу закончить эту историю и вернуться к Майклу, который, должно быть, забыл купить занавески. Я их найду и повешу. Лейлина патетическая история станет прошлым, чем-то, чего, возможно, никогда и не было. Армин все время был жив. И в то утро после выпускных, когда мы обзавелись Зайцем, и в тот вечер, когда мы его похоронили. Она дала мне в долг слишком много горьких переживаний. Наступила пора исправить эту несправедли-

вость.

Через некоторое время я снизила скорость почти до нуля, уверенная, что еду к цели и что чем дальше оттяну встречу с ней, тем лучше она ляжет на рану, лучше исправит все ее ошибки и мои молчания. Шоссе казалось мне скользким, как лед, автомобили сигналили и обгоняли нас, пока я развлекала себя мыслью, что это была последняя услуга, которой она может от меня требовать за счет своего пропавшего брата. Так я по крайней мере хотела думать.

А потом темнота. Сначала я ее не заметила. Должно быть, в какой-то момент небо передумало и без единого слова и потихоньку закрыло лицо полупрозрачной тканью, как утомленная вдова в многолюдной церкви. На электронных часах над рулем, в полной темноте, светилось 15:20. Время неправильное, как одежда не того цвета на похоронах. Неужели они действительно так жили — она и тот татуированный джинн? Без времени? Никому не пришло в голову правильно поставить часы в машине? Одновременно меня нервировало и то, что она по-прежнему безответственна, и то, что это меня по-прежнему задевает. Я предположила, что неправильно оценила время, которое провела в ресторане, ожидая, когда

она сдаст смену. Должно быть, уже тогда был день, если сейчас так темно.

«Который час?» — спросила я.

«А что, ты разве куда-то спешишь?»

«Часы в машине идут неправильно».

Лейла потянулась и посмотрела на часы, с выражением лица как у матери, которая смотрит под кровать, чтобы успокоить меня, что там нет чудища.

«Что не так? Минуту туда, минуту сюда. Не будь такой обсессивной». *Обсессивная*. Одно из ее слов. Тогда, перед поступлением на факультет, когда я думала, что беременна. «Не будь такой обсессивной, Сара». Мы сидим в туалете какого-то кафе и ждем, когда на палочке появится знак. Нет, еще раньше, до палочки, когда мы готовились к контрольной по химии. Я злилась, потому что она не могла успокоиться и начать учить. «Не будь такой обсессивной», — сказала она мне. Или, может, до этого, задолго до этого? Может быть, я всегда была для нее обсессивной. Потом я уехала в Дублин, познакомилась с Майклом и начала говорить ее языком. «Не будь обсессивным», — говорила я ему, не раздумывая и одновременно чувствуя, что я будто что-то украла, что-то такое, что, я уверена, мне было не нужно. Я принесла на себе

кусочки Лейлы, крохотных насекомых, которые проникли ко мне в сумку, в карманы, в штанины и которые скрывали перед Майклом свою истинную природу. Наш первый выход: исландский фильм, который мы оба якобы понимали. «Что, ты, похоже, разбираешься в искусстве?» — спрашивала я его. Я стояла на тротуаре, подвернув ступню, и снисходительно смотрела на него. И он это любил, любил Лейлу во мне, хотя никогда с ней не был знаком. Она и его получила.

«Лейла, — сказала я, пытаясь призвать на помощь терпение и вспомнив, что нам уже за тридцать. — Посмотри в окно».

«Господи, ты такая странная! Я думала, что тебя этот твой Белфаст немного исправил».

«Дублин», — поправила я ее.

«Дублин. Все равно… На что посмотреть? Вон корова. Привет, корова!» — закричала она, а я едва сдержалась, чтобы не улыбнуться.

«Оставь в покое корову, посмотри, как стемнело. Не может быть, что сейчас три часа дня. По крайней мере семь», — сказала я, на что она закатила глаза.

«Какая разница, три или семь?»

Теперь и она занервничала, что показалось нехорошим знаком. Наверное, нужно было засме-

яться на ту корову. Я не видела Лейлу двенадцать лет, но по-прежнему боялась некоторых ее реакций. Словно я когда-то в детстве переболела почти летальным вирусом, который сейчас возвращался. Я не могла защититься от этого жалкого страха — что она меня бросит, что поймет мою истинную природу и передумает. Первая неделя в школе, скажу что-нибудь глупое — и она сядет рядом с кем-то другим. Вся жизнь будет другой. И по-прежнему боялась. Даже тогда в машине, когда она действовала мне на нервы, так же как и все бывшие Лейлы, и вместе с тем пугала, как совершенно чужой человек, от которого неизвестно чего можно ждать. Кто была та женщина в автомобиле рядом со мной? Кто была я? Или, может быть, это были мы? Настоящие мы, если такие существуют — тихие призраки в густой темноте, а все остальное было кукольным спектаклем.

«Когда ты последний раз была в Боснии?» — спросила она меня. Голос был более глубоким, будто бы она подыскивала достаточно простые слова, чтобы объяснить мне какую-то великую истину.

«Раньше… Не знаю. Не помню. Давно», — сказала я. Я не хотела признаваться, что считала годы.

«О’кей, но хотя бы примерно…»

«Как это связано с часами в машине?»

Она достала из сумки маленькую «Моторолу». Разумеется, подумала я, у нее все еще раскладной телефон с большой кнопкой, для пенсионеров. Дико круто. Мы все дураки со своей тачскрин-техникой.

«Не помню даже, когда я в последний раз видела такой телефон», — сказала я и улыбнулась. Она опять закатила глаза. На этот раз настолько явно, что я на мгновение почувствовала себя так же, как бестолковый папа какой-нибудь крутой девочки-тинейджера.

«Ты права, часы врут», — сказала она, поморщившись.

«Разумеется, я права».

Она открыла «Моторолу» и показала мне маленький зеленый экран: «Трех еще нет — 14 и 58».

Я затормозила так резко, что телефон выпал у нее из руки.

Она засмеялась.

«Лейла, не валяй дурака. Который час?»

«Какого хера, Сара? Успокойся».

«Лейла. Сколько времени?»

Она проверила макияж в зеркале заднего вида

и сказала: «Я сейчас вспомнила учительницу сербского, которая нас заставляла говорить *час* вместо *сат*, помнишь? Сколькоу часоу?»

Лейла улыбнулась и принялась тюкать кнопки в своей допотопной «Мотороле», как будто так и надо. Я подумала, что она не в своем уме, я должна была это предположить еще в Дублине, когда она позвонила. У Лейлы психические отклонения. А я дура, которая везет ее в машине в полной темноте.

Я отстегнула ремень и стала рыться в сумке, пока не нашла свой телефон. Он-то, во всяком случае, был *умным*. Возможно, все вокруг меня ненормальное: Лейла, ее мобильник из прошлого века, автомобиль, корова… все, но только не *мой* телефон. Нет, он из Дублина. На него я еще могу рассчитывать.

Так я думала, пока не увидела, что она была, как всегда, права. Сейчас три часа дня. Даже в моем *умном* телефоне. Снаружи была полная темнота. Время от времени нас обгоняла какая-нибудь машина, свет фар рассекал тьму, кто-нибудь нам гудел или выкрикивал ругательство, а потом снова исчезал в ночи.

«Велкам бэк», — тихо сказала Лейла. Поняла мой ужас. Ее глаза, пусть и под фальшивой сине-

вой контактных линз, были чем-то, что я могла узнать. Она вернула мне ту Лейлу, которая жила в моей голове, которой мне не хватало и которая после всего этого цирка увидела, что теперь уже хватит, что она нужна мне нормальной, понимающей мои страхи. Должно быть, она поняла, что я действительно потеряна, что я не притворялась. Что я забыла все: ее и Армина, Боснию. Эту темноту.

«Но в Мостаре…» — сказала я умоляюще. Нас обогнала машина и несколько раз посигналила. Водитель показал мне средний палец.

«Чем ближе к морю, тем меньше, — сказала Лейла, — поэтому я и уехала туда. Внутри хуже всего. Не видишь пальца перед носом».

Внутри. Для меня это слово всегда было связано с человеческим телом. Я подумала, что мы обе в этом автомобиле похожи на белое кровяное тельце, которое движется внутрь, в глубокой темноте, не осознавая жизни, что приводит его в движение. Я была совершенно потеряна, в машине, остановившейся посреди шоссе, в кромешной темноте, в какой-то стране, которая была похожа на мою настолько же, насколько слепок с мертвого лица похож на лицо живого человека.

«Сара, — сказала она осторожно. — Надо ехать, люди нам гудят».

«Сейчас, секунду».

А мне была необходима еще одна жизнь. Она наклонилась и поцеловала меня в голое плечо. Десятью минутами раньше это бы меня испугало, но сейчас я была парализована, как будто где-то в себе я ищу рубильники, которые нужно перевести в правильное положение, чтобы я смогла все продолжить. За столько лет они заржавели. Было недостаточно воскресить язык — я должна была отыскать в себе нечто более глубокое, чем сознание, что-то животное, примитивное, инстинкт, который помогает выжить в темноте. Когда-то раньше он у меня был, еще в те дни, когда я ребенком плутала по нашему городу, ища Армина. Когда-то раньше у меня была кожа для Боснии. Сейчас мне нужно было ее снова создать, чтобы она за несколько секунд выделилась из моих наивных европейских пор и сама засушилась в корку.

Лейла вдруг встрепенулась, словно что-то вспомнив, и расстегнула шорты. Прижалась спиной к спинке кресла, приподняла бедра и засунула руку глубоко между ног. Извлекла из себя толстый, пропитанный кровью тампон.

«Твою мать, Лейла… Фу».

Она опустила стекло и швырнула тампон в темноту.

«Ты что, хочешь, чтобы у меня был этот, как его там, шок и тебе пришлось бы меня хоронить?»

«Ничего смешного. Если тебе нужно в туалет, остановились бы где-нибудь. Я не обязана смотреть на твои использованные тампоны».

«Где здесь останавливаться, ты что, не видишь, что мы на автостраде, — сказала она. А потом, вдруг занервничав, добавила: — И какая разница, смотришь ты на них или не смотришь? Они здесь: с тобой или без тебя. Ну, давай, заводи машину».

«Мне нужна еще секунда».

«Ей нужна секунда… О боже, что за ненормальная! Неужели не видишь, что здесь в нас кто-нибудь врежется?»

Увидев, что я не отвечаю, она продолжила осторожнее: «О'кей, давай так: довези нас до Яйце. О'кей? Это близко, совсем рядом, доплюнуть можно. У меня там есть приятельница. Можем остаться на ночь у нее, если ты отрубаешься. А завтра поехать дальше. Ты и выглядишь очень усталой. Что скажешь, давай так?»

Я кивнула. У меня не было сил ни расспрашивать ее, ни ссориться. Напротив, я была ей

благодарна. Отвратительный вид кровавого тампона вернул меня к реальности. Я повернула ключ и включила первую. Как только мы снова двинулись вперед по темному асфальту, настроение у Лейлы улучшилось. Она вытащила из сумки новый тампон и засунула его внутрь, а я всеми силами старалась отключить боковое зрение.

«Кстати, мы можем там сходить посмотреть катакомбы», — сказала она весело, будто говорила о палатках с лимонадом.

«Можно».

Так мне и надо, подумала я, не надо отвечать на звонки с неизвестных номеров. Сейчас мое дело — молчать и ехать, куда Лейла Берич укажет пальцем. Окровавленным пальцем.

«И посетим это заседание… как оно там называется, это чудо… АВНОЮ![4] Музей заседания АВНОЮ! — воскликнула она и шлепнула меня по ноге. — И водопад!»

«Можно, — сказала я устало. — Все можно».

На джинсах остался кровавый след.

---

[4] Сноски: 4

АВНОЮ — Антифашистское вече народного освобождения Югославии. Коллективный орган власти, в котором были представлены различные антифашистские организации. На освобожденных от фашистов территориях исполнял функции временного правительства. Образован в 1942 году.

[«Ты порезалась», — сказал мне кто-то. У меня болит подушечка пальца — так начинается воспоминание. Все остальное мутно, как после дождя. Твой седьмой день рождения. Не помню мебели, в моем воспоминании там тот же диван, хотя этого не может быть, он появился у тебя под конец средней школы. Не помню ничего крупного — шкафов или детей, — но некоторые мелочи помню ясно. Я в первый раз у тебя дома. Пахнет чипсами и газированными соками. Я купила тебе барби-врачиху, потому что только у нее были черные волосы, как у тебя.

Перед дверью мы все разуваемся. Твоя мать нас целует, дает нам пластмассовые стаканы, на которых голубыми и розовыми фломастерами написаны наши имена. Тарелочки с разноцветными квадратиками. На них — щедрые куски шоколадного торта с вишнями.

Что мы делали на том дне рождения? Помню, у меня болел палец. Я не хотела тебе говорить, чтобы не получилось, что жалуюсь. Ты еще не знала, что я плакса, и я хотела, чтобы так оно и осталось. Не могу вспомнить ни что я тогда надела, ни как выглядела. Но помню темноту. Кто-то говорит мне, что я порезалась. Бумага — мы играли во что-то, и я порезалась бумагой.

Я шепнула ему, что неважно, мне небольно. Вру. Темнота. Почему темнота, если день рождения? Почему мы шепчем? Да, вспомнила. Мы играем в вызывание духов. Это твоя любимая игра. Держишь свечу под подбородком, закрыла глаза и начала говорить какие-то заранее приготовленные слова, как будто знаешь их всю жизнь: «Если ты здесь… покажись нам… Если ты здесь… покажись нам…»

Я тебя боюсь. Мы знакомы пять месяцев, нас считают лучшими подругами. У каждого есть кто-нибудь — ну вот, у меня ты. Но сейчас мы не за партой, мы сидим в твоей комнате на полу, вместе с другими детьми, в полной темноте. Да, теперь вспомнила. Я едва узнаю тебя, черные волосы падают тебе на глаза. Тебе семь лет, но в моей памяти ты старше, похожа на нынешнюю. У тебя слезает кожа на губах, ты все время ее обгрызаешь. Твои глаза меняют цвет, из черных в голубые, и обратно. Не могу сделать тебя моложе в своих воспоминаниях, всегда это *ты*, все Лейлы в одной.

Все молчат, только ты говоришь. Слабо помню, что именно, но знаю, что в тот момент мы все тебе верим. Никто, впрочем, даже и не решился бы сказать тебе, что ты не знаешь, что делаешь.

Ты наша королева тьмы, единственная, способная разговаривать с духами, готовая принести нас в жертву.

Ты сказала, что в твоем доме живет дух из какого-то прошлого века. И что только ты можешь разговаривать с ним. Один мальчишка сказал: «Да ладно», — но ты посмотрела на него так выразительно, что он тут же заткнулся.

Я сидела в углу со своей тарелкой с тортом. Я боялась, что его кто-нибудь съест. Моя мама не умела делать торты, а папа говорил, что для здоровья вредно есть много сахара. Это была моя единственная возможность наесться шоколада. Я втыкаю вилку в мягкое тесто, а вишни беру пальцами. Темнота, никто меня не видит, могу есть сколько влезет. А потом меня кто-то спрашивает: «Тебе больно?»

«Немножко жжет», — признаюсь я шепотом. Лица не вижу. Твой старший брат. Он никогда не выходит во время большой перемены, все время сидит в классе со своими товарищами. И глаза у него какие-то слишком большие для мальчика. Волосы слишком длинные. Читает книги, которых нет в списке для внеклассного чтения, как будто нет более умного занятия. Здесь, в темноте, он похож на тебя. Или ты на него? А потом,

будто это совершенно нормально, он тянется за моей рукой. Я оставила вилку в пустой тарелке и позволила ему посмотреть мой порез. Он разглядывает мой палец как сломанную игрушку. Его ладонь больше моей, кожа гладкая, натянутая, я как будто дотрагиваюсь до воздушного шарика. Потом я буду пересказывать себе это событие, когда стану подростком, и фраза «Армин взял меня за руку» начнет обретать новые значения, которых тогда, на твоем седьмом дне рождения, не имела. Тогда это было странно, но в порядке вещей. Он старше, он в этом понимает.

Все пахнет шоколадом, вишней и газированными соками. Музыки нет, твоя мама не дает ее включать. Ты объяснила: это потому, что у тебя нет папы. Ему не хватало чего-то внутри, чего-то важного. Когда мы перейдем в среднюю школу, ты мне наконец-то расскажешь. Всего ему хватало, просто у него в горле была опухоль размером с теннисный мячик. На твоем седьмом дне рождения я еще не знаю, что такое опухоль, знаю только, что у тебя нет папы и из-за этого нет музыки. В вашей гостиной, на горке с фарфоровой посудой стоит его фотография: твой отец в костюме и галстуке-бабочке поет в концертном зале «Бански двор». Его рот открыт в неслыш-

ной песне. На стене, в рамочках, висят диски: «Избранные баллады» и «Староградские жемчужины». Первый раз я услышала его имя на уроке пения. Учительница была в шоке, после того как ты спела свою гамму из двух нот. «Дочь Аднана Бегича… Кто бы мог подумать, — прокомментировала она грустно и тут же добавила: — Неважно. У каждого свой талант, мы не можем все быть одинаковыми!» А на твоем дне рождения нет музыки. Как будто тот открытый рот на фотографии высосал из дома все мелодии, а из тебя — еще и слух.

Твой брат по-прежнему держит мой палец в своей руке, забыл вернуть. Спрашивает, как меня зовут. Спрашивает, сколько мне лет. «Семь, — говорю я и тут же добавляю: — Восемь через четыре месяца», — чтобы он знал, что я старше всех в комнате. Кроме него — ему двенадцать. Это ты мне сказала в школе. Спрашивает меня, когда я родилась. Я ему говорю.

«В тот день умер Тито», — шепчет он мне.

«Кто это, Тито?»

«Неважно».

Но я этого не забуду, того, что кто-то умер, когда я родилась, что некоторые люди могут перестать существовать, а другие в тот же день начать.

Я осознала жестокую демократию момента. Той ночью я не смогу заснуть, буду плакать, от того что люди умирают, от того что однажды перестану существовать и я, от того что меня больше не будет. Я разбужу родителей, папа первым придет в мою комнату.

«До этого еще очень далеко, солнышко».

Немного позже в дверях появится мама, недовольная, что мы ее разбудили.

«Вот, пусть тебе мама скажет. Люди умирают, когда они очень, очень, очень старые».

Она только сказала: «Никогда не знаешь. Нужно беречь себя». Почесала голову между бигуди под платком и ушла назад, спать.

Но на твоем седьмом дне рождения, пока Армин держит мой палец, я не боюсь смерти. Может быть, из-за того, как именно он сказал: «В тот день умер Тито». Как будто это самое обычное на свете дело — умереть.

Он спрашивает меня, какой мой любимый цвет, просто так. Говорю «зеленый». Спрашивает, какая моя любимая фигура. Надо подумать. Я чувствую тарелку у себя на коленях и говорю «круг».

«Это хорошая фигура», — говорит мне он, а я вдруг чувствую гордость. Моя фигура — это хорошая фигура, а не плохая. Я не знала, что бывают

и плохие. Более того, еще несколько секунд назад я не знала, что у меня есть *своя фигура*.

Он задает мне кучу вопросов, больше, чем учительница за целый год. Но это не глупые вопросы, не трудные вопросы — нет, он спрашивает меня *обо мне*. Какое мое любимое время года, какое мое любимое животное, какая моя любимая цифра. Я пытаюсь раскрутить мозг как тяжелую, спящую карусель.

«Весна», — говорю я. И слон. И цифра пять.

Ты открываешь один глаз и укоризненно смотришь на нас.

«Духам нужна полная тишина», — говоришь ты громко и потом снова закрываешь глаза. Я чувствую, как прямо рядом со мной смеется твой брат. Над тобой. Без страха. Я смотрю на тебя испуганно, не хочу рассердить. Но ты снова в трансе, разговариваешь с каким-то духом, ты схватила Деяна за руку и трясешь его. Все затаили дыхание. Время от времени слышно звяканье вилок о тарелки с тортом. Деян выглядит так, будто сейчас потеряет сознание.

«Он здесь, — говоришь ты нам, — дух среди нас. — А потом добавляешь глубоким голосом: — Кто… ты?»

Твоя голова падает, словно Лейла покинула

твое тело, кто-то другой оккупировал твое лицо и сейчас на нас смотрит твоими глазами. Кристина боится моргнуть. Деян на грани слез. Митар смотрит вокруг, на других, как будто понятия не имеет, что происходит. Но мне это больше не интересно, ты потеряла свою силу. Армин задает мне вопросы. Я хочу на них ответить.

«Какая твоя любимая книга?» — спрашивает он меня. Мне стыдно, у меня нет любимой книги. Я не читаю книги.

«А у тебя какая?»

«Остров сокровищ», — выпаливает он сразу. Это в тот момент звучит для меня как название лучшей книги на свете. Я могу видеть и остров, и сокровища, и Армина, и как он их находит.

«А, да… О'кей, да», — говорю я делано равнодушно и набиваю рот тортом в страхе, что он спросит еще что-нибудь и обнаружит, что я никогда даже не слышала об этой книге, а уж тем более ее не читала.

Позже я потребую ее у родителей. Мама мне скажет пойти в школьную библиотеку и поискать ее там. Книги берут в библиотеке, неужели непонятно? И я ее найду. «Остров сокровищ», Р.Л. Стивенсон. Синяя книга с пиратом на обложке. А внутри карточка с именами. Я прочитаю

«Армин Бегич» четыре раза подряд, с четырьмя разными датами. Буду читать ее каждый день, как прочитал бы ее он, представляя себе, как он переворачивает страницы, как волнуется, как радуется, как боится тех же опасностей, что и я, что и Джим. Прочитаю быстро, на случай, если он меня как-нибудь о чем-то спросит. Прочитаю ее раза три или четыре. Увижу ее в университетской библиотеке, когда буду искать «Тристрама Шенди». Проведу пальцем по корешку, но не возьму с полки. Увижу среди книг Майкла, на английском, между компьютерными справочниками. Увижу ее столько раз, в стольких разных местах, но никогда не куплю ее — любимую книгу двенадцатилетнего Армина.

В тот момент, пока мы сидим на полу, в темноте, с моим окровавленным семилетним пальцем, он этого не знает. Не знаю и я. Я боюсь, что он спросит меня что-нибудь про книгу, но он просто продолжает дальше со своими вопросами наобум. Есть ли у меня домашнее животное? Есть ли брат или сестра? Нет, нет ничего, нет никого. Умалчиваю о трех мертвых черепахах. А хотела бы я иметь кого-то? Да. Кошку, собаку, канарейку, брата и сестру.

«Кошка бы съела канарейку», — шепчет мне

он.

«Не съела бы, канарейка была бы высоко, в клетке».

«А если кошка допрыгнет?»

«Я ее накажу. Не дам еды».

«Тогда она будет голодной и в конце концов все равно съест канарейку», — говорит он, а я фыркаю от смеха.

«Духам нужна полная тишина!» — крикнула ты из темноты, из-за облака черных волос, которые падали на твое лицо.

Армин продолжает экзаменовать. Какой мой любимый класс — у нас только один. Какое мое любимое дерево. Какой мой любимый цветок. Я не умею различать деревья, знаю всего три цветка. Но выдумываю, напрягаю мозг и обманываю — только для того, чтобы иметь свое, любимое. Говорю «сосна». Говорю «одуванчик». И после кто его знает скольких вопросов — о любимой машине, стихотворении, доме, игре, мультфильме, завтраке, после всех моих ответов, выдуманных, лживых, прошептанных — я чувствую, что наконец существую. Я личность. Кто-то, у кого есть любимая книга и дерево. Любимая фигура, которая хорошая, не плохая. Все эти ответы наполнили меня, как наполняется

цветом пустой дом в детской раскраске.

Твоя мать зажигает свет и разрушает волшебство. Детские руки размыкаются, разрывая ритуальный круг. Дух неслышно покидает тебя и исчезает через потолок. Ты снова Лейла.

«Ты знаешь, что я не люблю эту игру», — говорит твоя мама.

«Ну и что, мы просто играем…»

Ты так запросто ответила ей, своей матери, вот этими словами. Моя влепила бы мне оплеуху, обратись я к ней так резко в присутствии других детей. А твоя лишь сказала: «Хоть духов оставь в покое, если меня не можешь». Я никогда не забывала эту фразу. Ты закатила глаза и встала с пола. Тут я поняла, что Армин исчез, его больше не было рядом со мной. Должно быть, прокрался, пока ты препиралась с матерью, а я изумленно следила за вашим разговором. Мне было жаль, что он ушел просто так, со всеми моими ответами. Куда он их понесет, что сделает с ними? Позже до меня дошло, что он ответил мне только на один вопрос: тот, что про любимую книгу. Я чувствовала себя обманутой, это было некрасиво. Даже если бы я и попыталась, у меня не было времени узнать что-то — он допрашивал меня быстро, как полицейский. Поэтому я решила

побольше узнать об Армине через тебя, чтобы установить подобие равновесия, чтобы мне было легче принять то, что я дала ему все ответы.

«Какой твой любимый цвет?» — спросила я тебя.

«Красный».

«А у твоей мамы?»

«Фиолетовый».

Тут я отважилась и как бы незаинтересованно добавила: «А у твоего брата?»

А ты ничего не заподозрила и просто ответила: «Тоже красный».

И так до бесконечности, потому что было бы стыдно спрашивать только про него. Помню, что у тебя был моментальный ответ про все. Ты знала, что твой любимый цветок — это мак, что твой любимый дом — это дом госпожи Попович, что твоя любимая игра — это вызывание духов. И ты не обманывала, ты знала все о себе, сразу, в тот же момент. Помню, что почти все было одинаковым у тебя и твоего брата, настолько, что мне показалось, что ты ему подражаешь. Я сказала тебе, что Тито умер в тот день, когда я родилась, надеясь, что ты подумаешь, что и я тоже особенная, что у меня есть что-то свое. А ты лишь пожала плечами, будто эта информация не

заслуживала внимания.

«А знаешь ли ты вообще, кто это Тито?» — спросила я тебя, хотя сама понятия не имела.

«Знаю, — ответила ты. — У мамы стоит его фотография».

Я проучилась половину начальной школы, считая, что это какой-то ваш родственник.

Я была на всех празднованиях твоего дня рождения, но Армина там больше не встречала. Он рос, менялся, друзья стали ему интереснее, чем компания младшей сестры. И каждый раз, когда я звонила в вашу дверь, в каком-нибудь тщательно подобранном наряде, с аккуратно упакованным подарком в руках, я думала: вдруг и он дома? Даже позже, когда мы уже были подростками, каждый год после его исчезновения. У меня была любимая группа, любимые кроссовки, любимый язык, любимый журнал. Я была готова на случай, если он вернется. И помню, что я всегда любила задавать тебе эти скучные вопросы: какая твоя любимая песня, какое любимое стихотворение — уверенная, что между вами продолжает существовать связь, что через тебя я узнаю что-то о нем, хотя его больше не было.

Потом я поступила в университет, и, должно быть по привычке, у меня появились любимый

преподаватель, любимая женщина-поэт, любимый алкогольный напиток. Позже, через много лет, после того как покинула Боснию, искала любимое всюду. Хотела быть подготовленной, хотя мы с тобой уже давно не слышали друг друга, а он бесследно исчез. У меня было любимое кафе в Дублине, библиотека, магазин, парк, скамья и дерево. У меня было все, я обладала полнотой и одновременно стыдилась своей детской привычки. Я приобрела форму и цвет. Теперь, когда это было уже неважно.

Даже в то утро, когда я проснулась рядом с еще не протрезвевшим Майклом после первого секса, а его пес по-прежнему скулил в соседней комнате. Я не знала, о чем с ним говорить, — постель, которая благополучно соединила нас прошедшей ночью, сейчас засвидетельствовала, что мы совершенно чужие. Я посмотрела на кучу пластинок, лежавших у стены, и первое, что мне пришло в голову, было: «Какая твоя любимая?»

Он встал, неловкий, взлохмаченный, и доковылял до кучи любимых. Вытащил пластинку, которую я никогда раньше не видела: на ней было изображение головы скелета и женских губ.

«Вот моя любимая в этом месяце», — сказал он торжественно и поставил иголку на край

пластинки. Из колонок полетели слова, которые я в один прекрасный день буду знать наизусть, но в тот момент они были для меня совершенно новыми, мое голое тело в чужой постели отторгало их звучание:

> *Do you wanna be an angel? Do you wanna be a star?*
>
> *Do you wanna play some magic on my guitar?*
>
> *Do you wanna be a poet, do you wanna be my string?*
>
> *Yom could be anything*[5].

Майкл залез в кровать и начал играть на мне, как на невидимой гитаре, перебирая, как струны, волоски между моими ногами. Он пел без голоса, с лицом, искаженным страстной судорогой, как у рок-звезды. Пока я смеялась, он забрался под одеяло и принялся кусать меня за бедра. Довольно надолго задержался между ног, чтобы исправить бесславные пять минут прошедшей ночи. И так я создала всю нашу связь — этим дурацким вопросом с твоего седьмого дня рождения.]

---

[5] Сноски: 5

Песня Still… You Turn Me On (1973) британской рок-группы Emerson, Lake & Palmer.

6.

Глаза рано или поздно привыкают к темноте. То, что вначале было густой тьмой, толстым слоем шерсти, закрывающим собой все: Лейлу и меня, автомобили, дороги, целую Боснию, — начало бледнеть, истончаться. Скоро я смогла распознать какие-то очертания. Это дом, это дерево, это бродячая собака. Они снова приобрели свои хрупкие границы, линии, которые делали их автономными существами или предметами, отделенными от остатка мира. Яйце приветствовало нас накренившимся щитом, желтым, как далекая планета в черном космосе, с надписями на латинице и кириллице, к которым кто-то пририсовал миниатюрные гениталии.

Несмотря на темноту, мы благодаря Лейлиной феноменальной памяти сразу нашли дом госпожи Кнежевич. Там, где я видела подозрительные проулки и непреодолимые углы, она узнавала дорогу к своей, как она ее называла, *приятельнице из Яйце*. «Здесь налево, теперь езжай прямо… сейчас направо, там, возле того киоска…» В тот момент я поняла, что мы — и автомобиль,

и я — превратились всего лишь в продолжение Лейлиной воли; она передвигала нас с помощью слов, а мы молча им следовали.

Стоящая на пороге как памятник, под круглой лампой, внутри которой приплясывала моль, госпожа Кнежевич словно была воплощением какой-то другой Боснии, теплой, с большой грудью, всегда готовой раскрыть тебе объятья и наполнить твой желудок, сказать «успокойся, деточка, все хорошо». Ей было слишком много лет, чтобы я могла всерьез принять ее за Лейлину приятельницу, но в то же время слишком мало, чтобы она была всего лишь забытой бабкой-теткой, о которой я ничего не знала. Пока я парковалась во дворе, похожем на ботаническое кладбище — тут мертвый фикус, там мертвые гортензии, — Лейла уже обнималась на пороге со своей *приятельницей*. Была в их объятиях какая-то подчеркнутая близость, что-то такое, что не могло длиться дольше, чем последние год-два, и напоминало перформанс, рассчитанный исключительно на меня. Как будто этой встречей Лейла хотела доказать мне, как может общаться с некоторыми женщинами, как они ее любят и понимают — так, как мне бы никогда не удалось.

Пока я шла к дому, госпожа Кнежевич вытерла

руки о сиреневый фартук и крикнула: «Давайте-ка, девчата, все готово… Пока не остыло».

Лейла серьезно ответила: «Сара не говорит по-нашему. Она из Дублина. Я буду переводить», — и тем самым заткнула мне рот еще до того, как мне удалось что-нибудь сказать.

Госпожа Кнежевич посмотрела на меня, переполненная любовью, которая ждала здесь только меня — несчастную маленькую ирландку, заплутавшую в этих темных краях, которой еще предстоит открыть для себя, что такое настоящая хозяйка и настоящая пита с сыром. Я, не в силах вымолвить ни слова, строго посмотрела на Лейлу, ожидая, что та скажет, что пошутила. Она за две секунды отобрала у меня родной язык, а потом равнодушно разулась и вошла в освещенное помещение, из которого доносился запах сыра и свежего теста. Я следовала за ней, готовая при первом же удобном случае переломать ей кости.

«Спроси, она пробовала когда-нибудь сырницу?» — крикнула госпожа Кнежевич из кухни.

Лейла обернулась ко мне и на беглом английском, хотя и с закостеневшим акцентом сообщила, что госпожа Кнежевич хотела бы узнать, девственница ли я.

«Лейла, это не смешно… Какого хрена?» — про-

шипела я.

«Ш-ш! Speak English», — ответила она. А потом прокричала, чтобы ее приятельница услышала: — Сара говорит, что обожает сырницу!»

«А, да, я и забыла, что ты балованный ребенок, — сказала я по-английски. — Прости, пожалуйста». Я хотела уесть ее своим безукоризненным произношением, но ее холодный взгляд раскрыл мне бессмысленность такого тупого хвастовства. Мы были в Боснии — там, куда безгрешные акценты ездят трахаться.

«Э, такую сырницу она еще не пробовала!» — возбужденно воскликнула наша хозяйка, что услужливая Лейла тут же перевела мне на английский:

«Госпожа Кнежевич сказала, что больше всего любит, когда к ней в гости приезжают ирландские потаскухи».

Она развлекалась. Темная королева спустилась к нам, смертным, немного расслабиться. Теперь придется притворяться, пока ей не надоест, пока она не вернется на свой ледяной престол и оставит нас в покое. Как в тот день, когда она спрятала пенал Деяна в школьном туалете. Мне было жаль его, он так кричал и плакал, что все это заметили: «Это дядя купил в Германии!» А Лейла

только смеялась, делала вид, что не имеет к этому отношения, и рисовала Дональда Дака, считая линии: один, два, три, четыре — с точностью хирурга, — пять, шесть, и это уже его клюв. Сейчас она улыбалась той же подлой улыбкой, только вот годы отняли у нее право на шалости. Осталась одна подлость. Но я не возмущалась — в эту ночь в доме госпожи Кнежевич я согласилась быть Сарой из Дублина. Я согласилась на все — напевая, танцуя и жонглируя, как послушная маленькая обезьянка, — лишь бы мы доехали до Вены. И после этого — все. Придется ей найти себе новую цирковую свиту.

Мы сидели в маленькой гостиной, где на каждом предмете лежала своя связанная крючком салфетка, будто в квартире госпожи Кнежевич нападали снежные розы и навсегда прилипли к телевизору, столику, подоконнику. С семейных фотографий на нас смотрело множество улыбающихся лиц — глаза и рты искривлены неровным стеклом дверцы серванта. Повсюду были утки — пластмассовые, керамические, плюшевые, — их неподвижные головы были направлены на телевизор в углу. Диван, на котором мы сидели, был накрыт потертым пледом. Я чувствовала себя маленьким фрагментом гобелена, вышитого

мелкими стежками, кусочком красной шерсти во взятом в рамку равновесии. Все так тепло, пестро и пахнет чем-то между застоявшимся домашним воздухом и старой, морщинистой кожей.

«Вот и пита с сыром», — гордо сказала госпожа Кнежевич, неся большой серебряный поднос, который, судя по всему, был лучшим предметом в доме. Она подала и домашний вишневый сок, слишком слабо разбавленный водой. Два больших куска пышущего жаром пирога лежали на тарелках со щербатыми краями, на которых бледно проступали мелкие цветочки и миниатюрное изображение любовной пары: пастух и пастушка держались за руки и влюбленно смотрели друг на друга.

Заметив, что я разглядываю вязаную салфетку, свисавшую с телевизора, наполовину его закрывая, госпожа Кнежевич похвасталась Лейле: «Скажи ей, я их все сама связала. Из нитки, одним крючком, только одним, и только одна петля в работе. Не так как на спицах. То есть разница в этом».

Я подумала, что ей нужно иметь отдельную комнату, чтобы держать там все нитки и шерсть, а может быть, даже и какую-нибудь несчастную овечку в цепях. Лейла и дальше прилежно пе-

реводила на английский, заменив слова *крючок* и *петля* более удобным для себя оборотом *какая-то ее хренотень*. Потом сказала, что ей нужно в туалет, и взяла с дивана свою сумку. Я весело заметила по-английски: «Смотри, не засори тампонами унитаз своей дорогой приятельницы!» — что она полностью проигнорировала, оставив меня один на один с нашей гостеприимной хозяйкой.

Я улыбнулась госпоже Кнежевич в знак благодарности и взяла свою тарелку. Ладно, подумала я, так мне хотя бы не придется пускаться в один из ничего не значащих разговоров о погоде и кухне. Не говорю по-нашему. Могу спокойно поесть.

Но не успела я откусить от питы, как госпожа Кнежевич обратилась ко мне, медленно, будто говорит ребенку; все мышцы ее лица работали на то, чтобы я смогла все понять.

«Леееелааа, — сказала она протяжно и показала пальцем в сторону ванной комнаты, — дииивная дееевушкааа». И подняла большие пальцы, чтобы мне, глупышке из Дублина, еще и показать то, что хотела сказать. Она была уверена, что даже ирландцы могут постигнуть возвышенную славянскую семантику, при условии что с ними общаются медленно и терпеливо. Я кивнула

и стала есть дальше. Дивная девушка, как же. Которая выбрасывает использованные тампоны в окно. Я почти надеялась, что она засорит здешний унитаз.

Госпожа Кнежевич внимательно, с лицом, застывшим в улыбке хозяйки дома, следила за каждым откушенным мною куском: ее взгляд двигался вверх-вниз с моими челюстями, будто весь смысл нашего визита состоял в том, чтобы я признала, что никогда не ела лучшей сырницы. Я показала рукой на пирог и подняла вверх большой палец, чтобы избавить ее от страданий.

«Хорошая, а? Надо говорить хорошая. Хоороооошааааяяя».

Я послушно повторила «хоороооошааааяяя» — так, словно в первый раз произношу это слово.

«Дивная девушка, дивная…» — продолжила госпожа Кнежевич, на этот раз глядя на лица за стеклом серванта, скорее себе самой, будто ей совершенно неважно, понимаю ли я ее.

«Как ее отец замечательно пел, господи боже… Как соловей. И как страшно… кончил ее брат».

Она не знает, что Армин в Вене, подумала я. И перестала жевать. Я хотела что-нибудь ей сказать, но не могла, этим бы я себя выдала. Я должна быть такой же, как одна из уток на полке, без

языка. Но во мне что-то прыгнуло, как испуганный заяц из куста посреди моей грудной клетки. Армин в Вене. Поэтому я здесь, сижу и ем сырницу госпожи Кнежевич. Потому что *он* в Вене. Если я слишком часто буду повторять про себя эту фразу, она потеряет смысл, утратит значение. Армин снова исчезнет.

«Это же известно… Они об этом не хотят говорить. Но всем известно, кто в ту зиму захватил этих несчастных ребят», — продолжила госпожа Кнежевич, теперь полностью погрузившись в свои мысли, а я лишь присутствовала при ее личном ритуале, в ходе которого некоторые мантры должны быть повторены снова и снова, кто бы ни слушал. Каждое слово било по моей голове, словно вместо слов она бросала в меня фотографии и керамических уток.

«Вот и я», — сказала Лейла и вернулась на диван, сев рядом со мной, прервав госпожу Кнежевич в ее ритуальном плаче.

«Ты слышала, — сказала я тихо на чужом языке, — она не знает, что…»

«Что?»

«Что… он в Вене».

«А она… у нее все в порядке? С головой?» — спросила вдруг госпожа Кнежевич, показывая на

меня подбородком, шепотом, морщась скорее из-за неловкости, которую сама же и создала таким вопросом, чем от страха, что я вдруг ее пойму. Моя тупость оказалась убедительной.

«У меня не все в порядке с головой — я дружу с Лейлой Бегич, а это означает, что я полная идиотка», — сказала я по-английски с улыбкой.

Лейла засмеялась между двумя кусками пирога.

«Да, с Сарой все в порядке. Она не сумасшедшая… Совершенно. Если вы это имели в виду».

«Должно быть, сумасшедшая, раз сюда приехала, — заметила госпожа Кнежевич и взяла пустую тарелку из моих рук. — Будь у меня дом где-нибудь там, никогда бы сюда не вернулась. Хооочееешь ееещооо? Один кусок? Ооодииин?» — спросила она меня громко, показывая пальцем на кусок Лейлы. Я покачала головой. Я хотела только найти какую-нибудь кровать и заснуть. И послать сообщение Майклу, что я жива.

«Спать мы здесь останемся?» — спросила я Лейлу по-английски.

«Рано еще спать».

«На улице темнотища», — сказала я.

«И что теперь? Мы что, обязательно должны спать, когда темно? Сколько тебе лет?»

«Больше, чем тебе», — ответила я холодно.

Английский у нее стал гораздо лучше, чем когда-то. Ходила на курсы? Путешествовала? И эта ракетка в машине. Начала играть в теннис и учить английский. Кто эта женщина? Чья сестра? В чьем доме?

«Кроме того, — добавила она, — я хочу посмотреть катакомбы».

«Сейчас? В это время?»

«Не становись старухой, еще и пяти нет…»

Катакомбы. Зловещее название для зловещего домика, который стоит над дырой в земле. И вся эта темнота, снаружи и внутри. Казалось, все, кроме меня, считают ее совершенно нормальной и что я та, у кого не все дома.

Мы заплатили какой-то девочке на улице. Она нам ничего не сказала, только положила наши монеты одну на другую. Низенькая башня из металла. Лейла шла первой, я за ней. Из утробы земли доносился смех какого-то ребенка.

«Мы не одни», — наконец-то сказала она на нашем языке, уверенная, что мы далеко от ее *приятельницы*. На ее лице читались какие-то возбуждение, наслаждение, будто она входит в дом своего детства, несмотря на темноту и холод, которые обитали под всей этой землей. Мы

спускались вниз медленно, но верно, ее глаза смотрели глубоко в землю, как зонд эндоскопа.

«Давай, Михайло! Пошли!» — послышался женский голос над нами. Затем — опять детский смех, искренний, но неуместный. Он отдавался эхом глубоко среди камней, отскакивал от стен. В могилах не смеются, подумала я. В тот же момент из подземелья выскочил громкоголосый крикун — не ребенок, а какая-то гиена, — пронесся мимо нас и исчез на поверхности. Больше мы его не видели. Остались одни.

«Говорят, что когда-то существовал потайной проход», — сказала мне Лейла, та самая Лейла, которая больше двадцати лет назад вызывала духов на дне рождения. Я подумала, как ей, должно быть, холодно в этих девчачьих шортах. Но ничего не сказала. Ее всегда нервировало, если другие о ней заботились, тем самым хотя бы на миг давая понять, что она жертва в каком угодно смысле слова.

Она шла от одной ямы к другой, внимательно рассматривая шрамы на стенах.

«Говорят, Тито здесь скрывался во время Второй мировой войны… А проход вел к водопаду», — сказала она. Я хотела сказать ей, что все это просто коллекция глупостей для привлечения

туристов. Мне следовало уйти оттуда. Но было поздно: магия Лейлы продолжала действовать по-прежнему, спустя столько лет, даже под землей. Она создавала вокруг невидимую сферу, которой отделяла нас от всего света. Мы были одни, под землей, и я наконец-то могла расслабиться. Не было смысла притворяться перед ней, изображать начитанную переводчицу из Дублина или крутую девицу, которая понимает исландские фильмы, а после делает веганские канапе для друзей Майкла. Не было никакой необходимости в притворстве. Здесь были только она, подземелье и я. Я снова вспомнила остров. День, когда я думала, что она утонула.

«У тебя есть ребенок?» — спросила она вдруг, пытаясь расшифровать чье-то имя, выбитое на камне.

«Нет, — ответила я. — У меня перевязаны яичники».

Это заинтересовало Лейлу настолько, что она остановилась и посмотрела на меня. Изумленно вытаращила глаза, давая понять, что от меня такого не ожидала, что я для нее — одна из тех скучных особ, которые должны безропотно следовать законам биологии. Ее линзы двигались от моего лица к междуножью, будто там она сможет

что-то увидеть, будто там у меня может чего-то недоставать.

«Опа… Это что, у вас в Европе такая мода?» — спросила она.

«Никакая не мода. Не хочу иметь детей». Хотела добавить «хватит того, что у меня есть ты», но промолчала. Она вздернула брови и надула губы, словно ей жаль, что вообще меня о чем-то спросила, и направилась к следующей яме в земле. Возможно, я могла бы ей объяснить, но понимала, что это напрасный труд. Некоторые люди хотят своего продолжения, хотят и дальше уверенно плавать в чьих-то клетках, после того как умрут. А я просто хотела перестать быть. Чтобы то, что я, это *я*, было только моим из всего существующего. Она не смогла бы это понять. Она, которая расширяется до бесконечности.

«Наверное, хватит? Может, теперь пойдем отсюда?» — спросила я.

Она прошла рядом и погладила меня по щеке, просто так. Как будто узнала меня в темноте. Решила, что мне необходимо прикосновение.

«Пошли», — сказала она.

Позже, в тот вечер, когда я лежала в большой супружеской кровати госпожи Кнежевич (которая как настоящая хозяйка спала, скорчившись

на диване), мне захотелось наконец-то отважиться и спросить у Лейлы, почему Армин в Вене, почему он не давал о себе знать. Я смотрела, как она резкими движениями расчесывает свою длинную белую гриву, будто хочет освободиться от клейкой темноты и мелких насекомых. Потом она стянула свои минималистические тряпки, сунула ноги под тонкое одеяло и повернулась ко мне спиной, пробормотав через зевоту «спокойной ночи». Я успела сказать лишь: «Лейла». Получилось так тихо, что она меня даже не услышала. Когда я подумала, что наконец-то готова произнести его имя перед ней, она уже погрузилась в сон. Мне были видны ее ребра, обтянутые тонкой загорелой кожей. Зеленый синяк двигался вверх-вниз, как кусочек моря, до которого рукой подать. Спала она так же, как когда-то, — как мертвая. В то лето, на острове, под оливой, которая хлестала наше низкое окно, я лежала рядом с неподвижным телом Лейлы и знала, что что-то закончилось. От выпитого алкоголя ее бросило в сон, а меня — в слезы. Так всегда и было.

Сейчас рядом со мной спала какая-то новая Лейла. Более старая и холодная, но при этом та же, давешняя, что притаилась где-то у нее между ребрами. Я не могла распознать, где кончались

ее волосы и где начиналась белизна наволочки. Во мне боролись два одинаково сильных желания: одно логичное, взрослое — прошмыгнуть наружу, дойти до шоссе и автостопом добраться до Загреба, — и другое, дурацкое, неразумное, из глубин моей холодной утробы — прижаться к ней, обнять и заснуть, как несчастный щенок, в ее белых волосах. В результате я лишь пялилась в потолок, пока меня не усыпил звук сверчка из мертвого двора. С кресла в углу за мной наблюдала гигантская плюшевая утка. Может быть, это господин Кнежевич, подумала я, погружаясь в сон.

[Думаю, нам было лет по восемь. Или по девять. Впрочем, неважно. Знаю, что мы были тогда одногодками, потому что такое становилось возможным только в промежутке между поздней зимой и ранней весной. Потом наступал май, и я обгоняла тебя во время развлечений, которые в дни рождения устраивала моя взбудораженная мать. Безвкусные фруктовые торты, сшитые на заказ платья и настольные игры, которые никому не были интересны. Как будто она организовывала праздник для маленького диктатора. Но до этого, совсем недолго, между твоим январем и моим маем мы были ровесницами, и в это

время я всегда чувствовала какой-то покой, как будто наконец доплыла до того островка, где мы равны немного больше, чем обычно. Так было и той зимой, когда нам было по восемь или, может, по девять лет. Мир, или по крайней мере та его небольшая часть, которую мы называли этим словом, стал пахнуть иначе. Другой едой, другим ополаскивателем для белья. Не так, как потом, когда запахи исчезли. Но это воспоминание не о той темноте, которая наступила потом. Это воспоминание о той зиме, когда я убила воробья.

Я никогда никому об этом не рассказывала. Даже дублинскому психотерапевту, которая брала за сеанс меньше всех. Я рассказывала ей о своих родителях, о Майкле, даже и о тебе и Армине. Но никогда о воробье, которого я убила той зимой, когда нам было по восемь или, может, по девять лет. Как начинается та история? Это моя история, не твоя, все зависит от меня. Снова ударить каблуком ботинка по льду замерзшего озера. Вот крошечная трещина. Ты не можешь сказать, что я выдумываю.

Первое воспоминание: маленький глаз, который смотрит на меня из снега. Все остальное рождается из этого взгляда. Ты, в стороне, неподвижна. Помню запах снега и грубых шерстяных

рукавиц и, как твоя мама всегда говорила, зубастое солнце. Помню, что мы щурились на эту белизну, расписанную то тут, то там следами грязи и детских ног.

В те дни мы любили одеваться *серьезно*. Это была твоя идея. Ты начала носить брюки *со стрелкой*, заправляла рубашку и заплетала косу так туго, что натягивалась кожа на лице и начинали косить глаза. Поначалу я тебя поддразнивала. «Одеваешься прямо как мой папа», — сказала я тебе.

«Если хочешь одеваться как дите малое, это твоя проблема».

Вот и все, что ты сказала. Я этого никогда не забывала. А ты продолжила переписывать цифры с доски в тетрадку по математике, в клеточку.

Я вспомнила это твое *дите малое* в Дублине перед первым собеседованием на работе. Я заплела косу и заправила рубашку в брюки. Все эти остатки тебя, изуродованные временем и ленивой памятью, неожиданно быстро возвращались в мою далекую повседневность, когда я ждала тебя меньше всего. Иногда я открывала дверь и впускала их внутрь. Иногда сама себя уверяла, что плохо помню, что было не так, и таким образом дискредитировала все, чем ты была для меня.

Я хотела отыскать нечто сугубо *мое*, что-то, что родилось и проросло вне твоего влияния, и очистить его от тебя, отмыть, как косточку авокадо от самого́ плода.

Не отходи от темы, сказала бы ты мне, если бы смогла. Это важно. Ты права. Это день, когда я убила воробья. Ради тебя я решила одеться серьезно, чтобы не быть *маленьким ребенком*. Совсем не трудно — мама едва дождалась момента использовать все те, как она их назвала, *наряды*, которые я получала от родственниц в день рождения. Другим детям мы, должно быть, казались смешными, но нас это не трогало. Мы были уверены, что все вокруг нас дураки. *Мы* были серьезными. Обувь у нас была на шнурках, а не на липучках. До каких пор это длилось? Вероятно, до лета того года, когда мы еле дождались момента вернуться к шортам и начать обдирать коленки на косогоре за школой.

Не знаю, как выглядела учительница. Не помню ни нашего класса, ни половины учеников. Но знаю, что у тебя был металлический пенал с бледным изображением бутылки кока-колы на крышке. Внутри постукивала маленькая точилка. И две ручки, одна — для рисования, другая — чтобы писать. Ни у кого другого не было

цангового карандаша с грифелем.

«Армин говорит, что нельзя рисовать обыкновенным карандашом», — объяснила ты мне.

И кто его знает, сколько еще всякого другого. Армин сказал это, Армин сказал то. Я потребовала у мамы, чтобы она купила мне карандаш для рисования. Она принесла мне с работы простой карандаш, точно такой, какой у меня уже был.

Помню, в тот день, когда я убила воробья, было холодно. Холоднее, чем обычно. А может, и нет, может, это потом так показалось. Я была в колючих шерстяных варежках и натянутом на мокрый нос оранжевом шарфе. Папа принес мне этот шарф и сказал, что это самый лучший бренд и я должна его беречь. Я приходила в школу, бережно снимала его, как живую лисицу, и осторожно складывала, перед тем как положить в сумку. Во время большой перемены я аккуратно доставала его и снова обматывала вокруг шеи. В этом шарфе, который закрывал мне пол-лица, была какая-то надежность. И через его шерсть было легко общаться с другими детьми.

В тот день, когда я убила воробья, я была в нем. Знаю, ты помнишь, хотя мы никогда об этом не говорили. Мы вышли из школы во время перемены. Разломили пополам твой рогалик и мою

шоколадку. Откусили от яблока, по одному разу, как обычно — я с одного, ты с другого бока, — и швырнули его за забор. Там был Деян. И Раде. И еще несколько мальчишек из нашего класса. На нас, девчонок, они смотрели с презрением, как должное воспринимая силу, которой были несправедливо наделены, хотя и понятия не имели, что с ней делать. А мы чувствовали ту несправедливость так, будто кому-то другому дана для игры очень сложная игрушка-модель, которую мы могли бы собрать за две секунды.

Они были главными героями авантюр, которые в наших ревнивых ушах звучали гораздо более впечатляюще, чем были на самом деле. Нам рассказывали, как в выходные ходили на охоту со своими дедушками, а мы представляли себе кровожадных зверей, которые падают от их метких выстрелов. Объясняли, как делали домики для птиц, а нам виделись могучие орлы, которые спят в свежеотполированных апартаментах. Хвалились, что отцы разрешают им стрелять за домом по пустым консервным банкам, из которых им перед этим позволили попробовать пиво, с гордостью похлопывая их по спинам. Это *пиво* для меня тогда звучало как недоступный нектар богов, как что-то, что делает мальчишек важнее,

чем мы.

В тот день они выдумывали разные шутки про волосатые ноги Йованы. Я смеялась, ты закатывала глаза. Мне не было смешно, я просто хотела понравиться мальчишкам. Мне хотелось быть частью какой-то группы, а это подразумевало, что я стою вместе с ними на перемене. Я протаптывала себе дорогу к *мужскому* миру, я жаждала их присутствия и одобрения. Это желание — принадлежать чему-то — отодвигало в тень все остальные.

Ты сказала, что позвала Деяна на день рождения только потому, что тебя мама заставила. Мне было непонятно, почему кто-то мог быть против того, чтобы Деян пришел к нему на день рождения. Или кто угодно. Меня всегда радовало присутствие сверстников. Видеть другого ребенка в моей комнате. Когда я поняла, что дети могут быть плохими? Вероятно, позже, когда пришла темнота. Когда с ног Йованы перешли на тебя. Деян, Раде, Мирослав и Алеша. Начали подтрунивать над тобой, как только ты поменяла имя. Они плевали на листок бумаги, сворачивали его в шарик и бросали тебе в спину. На твоей тетради по сербскому, сзади, на обложке, выцарапали кривой крест и написали кириллицей четыре

буквы С, по одной в каждом углу. («Сраные свиньи сквернят страницы», — объяснил нам позже Армин значение этого таинственного знака. «Я думала, что это просто буква *с*», — сказала ты, раздраженная тем, что одна буква может означать столько всего. А мне было стыдно его спросить, что значит «сквернят»). Но ты не Йована — ты платила им той же монетой. Выбрасывала из окна их сумки, развязывала шнурки, прятала пеналы и тетради в грязном школьном туалете. В какой-то момент мне потребовалось сделать выбор, и что-то перевесило в твою пользу. Может, Армин, может, что-то еще. Может, я боялась, что ты унесешь с собой знание того, как я убила воробья. А пока я остаюсь твоей подругой, ты не используешь это против меня. Может, поэтому я выбрала тебя, а может, из-за чего-то менее заметного. Чего-то, что вынырнуло на поверхность вместе с твоими черными волосами через годы, на том проклятом острове.

А тот воробей — он был маленький, меньше моего восьмилетнего кулака. Он даже и не похож был на воробья. Выглядел так, словно кто-то как попало приклеил ему комочки пуха на розоватую кожу. Глаза у него были мутными, как будто они только привыкали к миру. В этом маленьком

уродце и в его умоляющем клюве было что-то ужасающее. Слепыми глазами он искал немного еды, немного жизни. Должно быть, он выпал из гнезда, у него было сломано крыло и странно торчала в сторону одна лапка.

Вдоль забора вокруг школьного двора накопилось много снега. Учительница кричала на нас, потому что мы его ели. «Отвратительное занятие. Я этого действительно не понимаю», — высокомерно сказала она во время родительского собрания, как будто это наши матери навалили снега. Но мы ее не слушали, ни ее, ни родителей. Снег был чистым и холодным. Он скрипел при соприкосновении с зубами, а потом таял на горячем языке, оставляя после себя металлический привкус неба. Ты съела больше остальных. В твоем рту исчезали целые пригоршни снега. Как-то раз я тебя рассмешила настолько, что ты выплюнула его прямо мне в физиономию. И тогда мы стали хохотать вместе. Это был первый год нашей дружбы, правда, тогда это еще не приходило нам в голову. Никто так не думает, когда начинается какая-то история. Никак не узнаешь, что это первая глава. В тот момент у этой истории не было никакого «до» и никакого «после». Красная шапка укрощает твои черные волосы. У тебя на

руках перчатки со всеми пятью пальцами, потому что только *маленькие дети* носят те, которые только с одним, большим. Синие резиновые сапоги, которые ты терпеть не могла, но мама тебя заставляла их носить, чтобы не намокали брюки. Твой день рождения и вызывание духов. Бумажные куклы, которые мы вырезаем из бумаги. Это было все. А потом я убила воробья.

Не знаю, кто начал. Таскали его по снегу, перебрасывали друг другу его беспомощное тело. Раде подбрасывал его высоко в воздух и кричал «лечу, лечу, лечу», а потом «упс, я упал» — а Деян смеялся над этим как сумасшедший. Они держали воробья за лапку, будто боялись, что из него в них проникнет ужас его хрупкой жизни. Швырялись им друг в друга и отскакивали в сторону, чтобы не соприкоснуться с ним. Когда устали, положили его на сугроб.

Ты стояла в стороне и молчала. Ты хотела уйти, но я страстно желала остаться, быть членом *команды*. Я не хотела, чтобы они связали меня с твоей холодностью, я смеялась через силу, избегая твоего взгляда.

Все мы думали, что птица мертва, а она вдруг открыла один слепой глаз.

«Ну, кто прекратит его мучения? — спросил

Деян. Мы все молчали. — Что, Раде, есть у тебя яйца?»

Раде тупо смотрел на снег, ему больше не было весело. Мне не хотелось смотреть на тебя, но я чувствовала на себе твой взгляд. Как будто ты знала, заранее, раньше всех, раньше меня самой, что это сделаю я. Как будто в твоей голове все уже произошло и не было способа это остановить.

Я наступила на него одной ногой. Сапог ушел в снег, а моя горячая ступня дико пульсировала. Мама заставляла меня надевать две пары носков. Но я почувствовала, как у меня под ногой что-то треснуло. Я почувствовала мягкие перья, и хрупкие кости, и маленький глаз, почувствовала, как они прилипают к подошве. Позже мне пришлось чистить сапог о снег. Остался след крови и несколько перышек. Деян похлопал меня по спине и сказал: «У одной только Сары и есть яйца». Остальные просто стояли и пялились на ямку в снегу, на мой сапог и на меня. Я боялась, сама не знаю чего. Нигде не было написано, что мы не имеем права убивать раненых птиц. Эта уже была полумертвой, выпала из гнезда, у нее не было шансов в этом снегу. Разве мальчишки не доконали ее своей дурацкой игрой? Разве она уже не была мертва до того, как я?.. Разве я не *прекра-*

тила ее мучения? Похвала Деяна, которой я так жаждала, теперь свелась к словам сопляка, засвидетельствовавшего мое преступление. Где-то это наверняка написано, подумала я, где-то это кто-то знает. Маленький клюв, который открывается и закрывается, маленькие, неразвитые крылья.

Я подняла глаза и увидела твое лицо. Не могу вспомнить, как ты выглядела в детстве, для меня ты всегда одна и та же. Когда бы я ни вспомнила тот момент, я вижу тебя более взрослой, твои волосы и глаза меняют цвет. Черные косы становятся светлыми, как в тот день, на факультете, а потом и белыми, как в «Астре». Черные глаза поблескивают синим, как контактные линзы, которые появятся лишь позже. А может, ты уже была старше, может быть, ты повзрослела тогда, в тот момент, среди снега. Может, это *я* с тобой сделала. Ты смотрела туда, где лежал раздавленный воробей, на ямку в снегу, которая будто засасывала весь смысл из всего, что было вокруг нас. Если мы слишком приблизимся к этой маленькой незасыпанной могиле, она засосет и нас. Все стало бессмысленным: наши серьезные рубашки, наши резиновые сапоги, наши цанговые карандаши для рисования, школа, и учительница, и подруги из нашего класса. Я прочла в твоих

глазах, в чем суть случившегося. Я выдавила смысл из вещей, людей и животных, смыла с них цвет и свела их к обычным серым тряпкам. Тогда я поняла, что сделала что-то неправильное. Что-то, что было связано не с воробьем, а со всеми птицами и сапогами этого мира.

Потом мы пошли домой, а на следующий день вернулись в школу. Все продолжилось по-старому. Мы сидели рядом за одной партой, делились друг с другом акварельными красками, смеялись над мальчишками. Ты мне помогала по математике, я тебе — по чтению. Ты ни разу не упомянула о моем преступлении. Но мне все-таки показалось, или я это сейчас воображаю, что ты стала по-другому смеяться. Как-то наполовину, краями губ. В твои зрачки проникло немного темноты. Что-то я у тебя отняла в ту зиму, что-то, что можно отнять только один раз, потому что оно только один раз и существует.

В начале мая ты пришла ко мне на день рождения. «Это моя самая близкая подруга Лейла», — сказала я гордо маме, как будто это я создала тебя прямо из воздуха. А она ничего не сказала, улыбнулась, не разжимая губ. В те же выходные повела меня домой к Маше Чекович поиграть. У всех других знакомых моих родителей были

мальчики, и мама долго листала свою записную книжку в обложке из искусственной кожи, пока не добралась до буквы *ч*, после чего радостно крикнула отцу: «О, доктор Чекович! Ведь у них же дочка, да?»

Я была готова выполнить свою часть работы. Мне пришло в голову, что мы с Машей, может быть, созданы друг для друга, что ты была просто неудачной случайностью. У меня будет новая подруга. Она не знает, что я убила воробья. Мне позволено *начать сначала*.

Однако Маша весь день провела в углу молча, с раскраской в руках. Я играла с целой командой барби на другой половине просторной комнаты. У нее была куча кукол: блондинок, брюнеток и рыжих. Время от времени она поднимала глаза от раскраски проверить, что я делаю. Натягивала ли я узкое платье на бедра Барби или причесывала Кена маленькой щеткой, она всякий раз смотрела на меня так, словно я дурочка и все, что я делаю, не имеет никакого смысла. Что же, подумала я, она делает с этими куклами, если одевание и причесывание кажутся ей такими странными? Я смотрела на дверь и надеялась, что вот-вот войдет мама и скажет, что мы идем домой. Между тем все, что доносилось в нашу

комнату, было смехом взрослых, которые общаются друг с другом только ради нас, детей. После долгого молчания, к тому же в невыносимой тишине, Маша наконец заговорила:

«У меня есть одна тайна. Хочешь посмотреть?»

Я подумала, что, может быть, еще не все потеряно — сейчас мы сблизимся, я смогу забыть тебя и мертвого воробья.

Когда я кивнула, Маша достала из-под своей кровати маленький спичечный коробок. Я подошла к ней по паркетному полу, она подняла коробок до уровня моего подбородка и наполовину открыла. Я взвизгнула. В коробке сидел живой таракан. Увидев выражение моего лица, Маша тут же закрыла коробок и холодно процедила: «Если скажешь моей маме, убью тебя. Только пискни».

В тот вечер мама уложила меня в кровать и спросила, понравилась ли мне моя новая подруга. В темноте комнаты я видела только ряд белых зубов, блестевших в широкой улыбке. Мне хотелось, чтобы такая картина сохранялась как можно дольше — улыбка без мамы была лучше, чем мама без улыбки. Я ответила, что мы с Машей очень хорошо поиграли. Уличный свет отражался от маминых кривоватых передних зубов.

Она шепнула «спокойной ночи» и поцеловала меня в лоб, как это делают мамы в американских фильмах. Как только она вышла из комнаты и закрыла дверь, я быстро прошептала в темноту: «Лейла — моя лучшая подруга». Как будто было важно сказать это, как будто это кто-то слышит, кто-то, кто знает, что я убила воробья. Один из тех страшных духов, что проникают через потолок, стоит им услышать твои призывы. Я хотела с помощью этой бессмысленной мантры создать вокруг себя невидимый щит, чтобы суметь заснуть. Эта фраза защищала меня от маминых белых зубов. Защищала меня и от маленького таракана, который той ночью возился в спичечном коробке под кроватью Маши Чекович.]

7.

Той ночью в просторной кровати Кнежевич мне снился солнечный день и какое-то поле, чудо ботаники, как в японской рекламе. Мы с Лейлой сидели за большим деревянным столом посреди долины и вырезали платья из журналов мод. Я старалась резать по краям, но ножницы упорно рвались из моей руки, уродуя маленьких двумерных женщин. Пейзаж простирался до горизонта, нигде не было ни единой горы или дома, только поле и наш рабочий стол. Во сне я спокойно приняла, что ничего другого и не существует. Ничего больше мне не требовалось.

Вокруг нас собрались все утки госпожи Кнежевич — керамические, плюшевые и пластмассовые — совершенно неподвижные, но с подвижными глазами. Следили за каждым нашим движением. Я злилась на Лейлу, но не помню из-за чего. Хотела закричать на нашем языке, выдать себя перед этими утками, но мне не удалось выговорить ни одного слова. Ее волосы были черными. И глаза. Как в тот день на острове. Она открыла полотняную сумку и достала из нее

вороненка. Он был маленьким, дрожал, словно мое лицо его пугало. Он прижимался к ладоням Лейлы в ужасе от моего присутствия. Она обеспокоенно посмотрела на меня и открыла рот, словно хотела что-то спросить. Тут я проснулась.

Я была в кровати одна. У меня в голове вдруг мелькнуло, что она сбежала от меня, отправилась в Вену пешком. За те две секунды, которые понадобились, чтобы выскочить из комнаты и понять, что она в ванной, я простила ей все глупости. Меня поразил собственный страх. Часть меня хотела от нее избавиться, вышвырнуть из автомобиля на проселочную дорогу, как пустую консервную банку. Но другая часть испугалась ее отсутствия. Она больше не была только Лейлой. Теперь она была и Армином, и Веной, концом этой истории. Я не была готова отказаться от всего этого.

После прощания с госпожой Кнежевич, которая вытерла ладони о свой сиреневый фартук, чтобы крепко меня обнять, мы направились к музею АВНОЮ. На этом дурацком безмолвном заседании было холодно. Лейла пальцами прикасалась к деревянным скамейкам и стульям. Синий облупленный лак на ногтях. Белые волосы закручены на макушке узлом, который похож на спящего полярного зверька. Я смотрела на

нее, она смотрела на знамена. Россия. Америка. Родинка у нее на шее, сзади, я ее почти забыла. Великобритания. Франция. Тот день на острове. Ее тело как неживое покачивается на поверхности воды. Югославия. И какие-то люди вокруг нас, немые, ностальгирующие, с застывшими улыбками и телефонами в воздухе. Фотографируют историю. Фотографируют фотографии. Товарищ Маркс, товарищ Сталин. Посмотрев на других, я вытащила из кармана телефон. Одна фотография для Майкла. Но батарея разрядилась, и телефон вырубился, только я его включила. Придется мне, как знаю и умею, запомнить это место, ничего не поделаешь, подумала я. Без помощи техники. Не из-за громадного каменного вождя, который дуется в углу, и не из-за антифашистской декларации народов бывшей Югославии. Я должна запомнить это из-за Лейлы. Что, если и она распадется на куски старой ткани со звездочками и блеклыми красками?

Она смотрела на всю эту пустоту как-то разочарованно. Она надеялась там что-то обнаружить. Перед тем как мы вошли, она была взволнована. Пыталась свистеть «Интернационал». Я смеялась. Утро было мрачным, чуть лучше, чем накануне, но все равно без солнца. Однако

внутри небольшого здания висели круглые белые лампы, они распространяли неоновый свет из какого-то другого времени. Знамена лежали вяло, свободные от праведного народного ветра. Лейла достала изо рта комок голубой жвачки размером с каштан и прилепила его на загородку перед креслом Тито. Повернулась и посмотрела на меня через плечо, чтобы убедиться, что я стала свидетелем ее греха. Послала мне кривую усмешку, гордая своим мелким преступлением, но на ее улыбающемся лице что-то мелькнуло и выдало ее. Одна Лейла — которой все было совершенно безразлично, которая доказывает свое превосходство тем, что прилепляет жвачку на исторические артефакты, — была в тени какой-то другой, которая не хотела себе признаться, как она разочарована. Она чего-то ждала, за чем-то пришла. Но там ничего не было, только какие-то мертвые, окостеневшие слова, которые словно смеялись над нами со стен. Да здравствуют наши союзники. Только она, я и огромный каменный Маршал, не способный посмотреть нам в глаза. Оба утомленные — и Лейла, и Йосип. «Если посмотреть внимательно, видишь его глаз между двумя перцами».

Она никогда не принадлежала к несчастным

ностальгирующим. Лейла — это особа, для которой прошлое важно так же, как выброшенные тампоны где-то в траве за нами. Если что-то не прямо под носом, если это не то, что приближается, зачем тратить энергию? Однако там было нечто, какая-то история, в которую она поверила и не могла это скрыть. Она в этом абсурдном зале казалась ребенком, к которому никто не пришел на родительский день в лагере. Стулья были пустыми. Со стен отваливалась штукатурка. Пластмассовый Диснейленд, не доросший до сказок, которые ему предшествовали. Happy meal Югославия.

«Я иду в туалет», — быстро проговорила она и исчезла из зала. С ней исчез и смысл всего этого места. Казенные кабинетные стулья превратились в старые деревяшки. Знамена вдруг стали какими-то тряпками. Как будто она унесла с собой Югославию.

Я ждала ее снаружи, в сумраке, который по-прежнему был мне неясен, но я постепенно училась к нему привыкать. С ним мы были хотя бы знакомы — он затуманивал нам границы и скрывал шоссе. После чужих лампочек из какого-то иного времени, чьей-то засушенной Атлантиды, темнота даже радовала взгляд. Она

была моей. Неправильной и отвратительной, но все же моей. Чем-то реальным, без целлофана.

«Пошли», — сказала она. И все. Без товарищей, без союзников — одни. Снова в «Астру», снова на шоссе. Но на этот раз с другой Лейлой. Она оставила развеселую официантку там, на сессии АВНОЮ, прохаживаться между стульями, подавать чай и флиртовать с важными духами. Она прислонилась головой к окну и смотрела в темноту, на силуэты зловещих деревьев, на осквернённые дорожные знаки и хрустальные пиксели речной поверхности. В темноте скалы едва виднелись и были холодны, как груди брошенной женщины. Я не решалась прервать тишину. Женщина возле меня была отражением чего-то знакомого мне, да, той серьезной девочки, которая сидит со мной за одной партой и разговаривает с математикой на школьной доске. Это не внешность, не одежда, не поведение. Это что-то, присущее ей одной, это как какой-то цвет. Не знаю точно, какой именно, не смогу дать ему номер на условной спектральной шкале. Цвет этот ускользает. При попытке описать его слова становятся жалкими дальтониками.

Я ехала осторожно, боялась животных, которые появляются из темноты, чудовищ, которые вы-

скакивают из реки, других автомобилей, которые несутся по шоссе, привыкшие к этой бессмысленной темноте. Мне не требовалось, чтобы она ко мне обратилась или объяснила, что ее так разочаровало в музее. Совершенно достаточно быть частью чего-то рядом с ней, просто быть рядом с ней. Мы с Лейлой едем, думала я, мы с Лейлой в машине, мы с Лейлой едем в Вену за Армином. «Мы с Лейлой» раскололось на острове, после того ужасного дня. Я его сломала. Но сейчас существовало новое «мы с Лейлой». Иное, неаккуратно соединенное, как два куска разбитой керамики, с трещиной посредине, которую никогда не получится замаскировать. Испорченное, несовершенное, но все же целое.

Она вела себя тихо почти до Крупы, я думала, она заснула, прислонившись к стеклу. А потом через некоторое время вдруг оживилась, словно что-то вспомнив, и открыла дверцу бардачка. Оттуда вывалилось несколько кассет. Она изучала их так серьезно, будто покупает драгоценности, а потом опустила стекло и принялась выбрасывать все, которые оценила как неинтересные.

«Ты что, всегда все выбрасываешь в окно? А тебе известно, сколько времени нужно для того, чтобы пластмасса разложилась в естественных

условиях?» — спросила я ее.

«И сколько же его нужно? Давай, просвети меня», — ответила она, продолжая копаться в кассетах.

«Ну, не знаю… Сотни лет. Может, даже тысячу».

«Хоть что-то после нас останется», — сказала она и, выбросив еще несколько кассет, обнаружила одну, которую сунула в магнитофон. Сначала послышался вой, настолько печальный, что я подумала, что магнитофон неисправен. А потом, с какого-то десятого или одиннадцатого дня рождения, из призрачной страны с белыми лампами задышал молодой женский голос:

Мой парень опасен, но он так прекрасен.

Он не спокоен, шалит он как черт.

Мне руки под платье опять запускает.

Э-э, знаешь, мой милый, так не пойдет.

«Лейла, перестань валять дурака».

Тайчи. Она поставила эту чертову Тайчи. А потом, слегка надув губы, запела: «С заклепками куртка, пьет пиво без пены…»

«Не могу поверить», — сказала я.

Она принялась меня подначивать: «Давай же,

Сара…»

«Да ни за что на свете», — ответила я.

Перед глазами у меня блеснули все пластинки Майкла. Дилан. Коэн. «Пинк Флойд». Я из Дублина, у меня есть авокадо, я крутая? Я знаю наизусть Blonde on Blonde. Я не пою Тайчи. А она продолжала: «Печаль в глазах носит… А любит только меня…» И так далее, до бесконечности. Затем последовала «Давай, влюбись в мои глаза…» или, что Лейлу почему-то особенно смешило, — петь не «глаза», а «гласьки». На кассете была только Тайчи. Мне не хотелось признаваться, что я знаю все слова.

«Сколько ей сейчас лет?» — спросила я, надеясь, что пение прекратится.

«Кому? Тайчи? Понятия не имею…»

«Должно быть около пятидесяти. По-моему, она живет где-то за границей».

«Какая разница?» — отрезала она и продолжала петь.

И так мы продолжали путь сквозь всепоглощающую темноту: «Астра» ползла рядом с рекой, как заблудившаяся дворняга, под ранние хиты Татяны Матеяш в атональной интерпретации Лейлы. Спустя некоторое время слащавая мелодия завладела моим сознанием, как какая-нибудь

обрядовая песня. Дорога стлалась перед нами, как развратная танцовщица. Темнота становилась все гуще, хотя только что миновал полдень. Мне пришлось сбросить скорость и сконцентрироваться на езде. Я забыла, куда мы едем. Мы покинули Вторую сессию АВНОЮ и теперь бежали к силам Оси под засахаренные аккорды ранних девяностых. Было уже неважно, куда мы направляемся. Так же неважно, как теннисная ракетка за нами или ее обручальное кольцо, подвешенное к освежителю воздуха. Больше не существовали ни Майкл, ни Дино. Нужно было просто ехать, продолжать, быть уверенным в несовершенных глаголах. Возможно, поэтому она мне и позвонила. Никто другой не знал бы, как молчать и вести машину, как слушать Тайчи. А может быть, я это сама себе выдумала. Вполне возможно, что я была всего лишь водительскими правами и толстым бумажником. Это было для меня несущественно. Я могла быть чем угодно, и можно было без помех продолжать поездку по направлению к тому, что нам ни разу не удалось назвать по имени, но о чем мы обе думали. Мы сказали Мостар, мы сказали Загреб, мы сказали Вена. Лейла пела, а я смеялась, как будто нас ничего не ждет. А она была там, хотя мы не

произнесли ее имени. Темнота в конце тоннеля, неотвратимая и неизбежная. Холодная могила на нашем пути. Умело скрывавшийся нарыв. Банялука.

Я хотела, чтобы мы проехали мимо нее так, будто там со мной не произошло ничего, достойного упоминания. Тогда я превратила бы ее в один из тех городов на карте, названия которых ничего не значат. Какой-нибудь картограф может свободно стереть их, никто и не заметит. Однако Лейла опередила меня и сказала: «Мы можем остановиться возле дома?»

Возле дома. Два слова — и из карты вырос целый город. Получил улицы и дома, школу, гимназию и философский факультет. Река рассекла его кожу и опоясалась мостами. Из могил выросли виноградники. Окна сами пробились сквозь стены и за своими мутными стеклами позажигали лампы. Где-то заговорил телевизор. И все из-за того, что Лейла сказала «возле дома». Там, где исчезают люди, умирают зайцы и не растут авокадо. Она вытащила Банялуку из земли двумя словами. Больше в «Астре» не было музыки. Тайчи осталась без хитов. Смыла макияж, упаковала вещи и отбыла в Америку.

Я свернула с окружной к гимназии. Нас оста-

новил светофор. Лейла смотрела на красные кирпичи, потом нахмурилась и сказала: «Помнишь выпускной?»

«Помню», — ответила я. Guadeamus igitur. Мы просыпаемся одни, потерявшие невинность. Маленькая белая перчатка плывет по воде. Мы идем на рынок покупать белого зайца.

«Какая отвратительная ночь, надо же… Ты помнишь? Там, на реке?» — спросила она по-прежнему хмуро.

«Что ты несешь, вообще не было ничего страшного. Насколько я помню, тебе понравилось».

Тут она посмотрела на меня так, как будто я совсем ненормальная. «Понравилось, мне?!» Она передернулась, возможно, чтобы так освободиться от порчи, и решительно добавила: «Фу».

«Я не знала, что тебе было настолько плохо».

«Ну, похоже, ты всего и не знаешь», — ответила она и принялась рыться в сумке в поисках новой жвачки.

«А помнишь те смешные галстуки на них?» — спросила я.

«У твоего был галстук. Он даже цветы тебе принес».

«Да не приносил он цветов… Подожди… Неужели и вправду принес цветы?»

«Господи, Сара, у тебя действительно ужасная память. Он принес тебе розы. Ради тебя нацепил галстук. Он сходил по тебе с ума. Тот, что мой, был просто ничто. Всякий раз, как вижу это дурацкое здание, вспоминаю его маленькую красную пипиську».

А мне гимназия напомнила кое-что совершенно другое. Я вспомнила Александра, который запихнул мне язык в рот, там, перед той входной дверью. Я сидела в нише в стене. У него были борода и усы, от него пахло сигаретами и каким-то резким парфюмом. Он засунул ладонь мне под юбку. Рука была теплой. Мне было пятнадцать лет, и я думала, что знаю все. Я носила клетчатые рубашки и джинсовые юбки с дырами. Делала вид, что понимаю группу «Екатерина Великая». Была уверена, что умею рисовать. Закатывала глаза. Там, перед этим обветшавшим зданием из красного кирпича, которое сейчас зияло пустотой в иной темноте.

Светофор слишком долго горел красным. По тротуару шагал старик, он тащил за собой тачку с одним колесом. На ней лежало что-то, что я не смогла разобрать из машины, что-то белое. Старик шел медленно, словно отклеивая ноги от земли. Он был единственным человеком

в темноте, но при этом очень мало походил на человека. Казалось, что слился воедино с тачкой за спиной, что их обоих тянет невидимая воля жестокого сверхсущества. Когда загорелся зеленый, я прибавила газу, чтобы догнать его и увидеть, что он тащит за собой. Было очень темно, но мне удалось разглядеть: он тащил свинью. Мертвую или оглушенную, непонятно. Огромная, откормленная свинья в расхлябанной тачке. Человек поднял голову, но я газанула и уехала раньше, чем он успел на меня посмотреть. Не хотела, чтобы он меня увидел.

Улица Лейлы выглядела так же, как и в ту последнюю ночь, когда мы похоронили Зайца. Я припарковалась через два дома. Не хотела видеть вход во двор с радиоактивной черешней. Не хотела видеть дверь их дома с буквой «р» из латуни. А меньше всего я хотела увидеть балкон учителя биологии или, того хуже, его самого.

«Пошли со мной», — сказала она. Я подумала о ее матери, вероятно, еще более худой, чем когда-то, в бледном черном трауре, с руками, похожими на ощипанные крылья.

«Не стоит, иди одна. Увидимся позже».

Лейла меня не уговаривала. Она развязала узел волос и быстрыми пальцами, как ловкий

паук, заплела их в безукоризненную косу. Потом выбралась из машины и ладонями пригладила футболку. Потянула вниз шорты, чтобы прикрыть задницу.

«У Ранка?» — спросила она.

«Можно и у Ранка, — сказала я и улыбнулась. — Когда?»

«Часа через два-три?»

«О'кей», — ответила я, а она помахала мне и направилась к своему двору.

Пока она шла по улице, я смотрела ей в спину. В густой темноте ее белые волосы исчезали, как мелкие крошки мела на ладони.

[Ты узнавала цифры на школьной доске, как фотографии из семейного альбома. Для меня их ряды были непреодолимы, я желала букв, из них можно было сложить слова, а потом и фразы. Учительница сербского велела мне написать сочинение для школьного журнала. Тема была «О чем я мечтаю». Папа потом вырвал эту страницу из сборника, вставил в рамку и повесил на стену в столовой. Но для тебя слова уже давно потеряли свои значения. Они следовали несправедливым человеческим законам, их природа менялась при появлении каждого нового словаря. По сравнению с твоими вечными

цифрами слова выглядели как беззубые шлюхи рядом с греческими богинями. Поэтому наш пакт был логичным: ты писала две контрольные по математике, одну под моим, другую под своим именем, а я писала две письменные работы по сербскому языку. «Осень в моем городе». При этом мы изменяли почерк: ты добавляла моим цифрам засечки и большие круглые животы, я искривляла твои буквы, удлиняла их конечности, извлекала лигатуры, которых у моих не было. Когда я писала письменные работы Лейлы Берич, я представляла себе, что я — это ты. Это были редкие драгоценные моменты, когда твоя история действительно принадлежала только мне и моей ручке.

«О'кей. Посмотрим теперь, что мы получили, — говорит нам преподаватель математики. — Видите ли вы здесь что-то интересное?»

Он сел на стол и изучает доску. Один из тех молодых преподавателей, которые пытаются быть нам товарищами. Сидит на столе, думая, что нам это нравится. Приходит на урок в красной кепке. Подмигивает нам.

«Что в этом интересного?» — шепчу я.

«Потом будешь меня доставать, чтобы я объясняла. Потому что ты не следишь».

«Серьезно, Лейла. Что тут интересного? До меня не доходит».

«Общий множитель это (a-1). Ты видишь, он три раза повторяется. Это означает, что мы можем его вынести за скобку».

«Но тогда у нас будет только один, а было три, где тут логика?» — говорю я, а ты закатываешь глаза. Я сморозила глупость, вижу по твоему лицу. Но мне по-прежнему неясен закон, в котором три буквы могут быть заменены одной. И это никого не удивляет.

Преподаватель поворачивается к нам и глубоко вздыхает. «Опять вы… Ну, давайте, кто пойдет к доске?»

Не успела я начать свое оборонительное заикание, а ты уже встала. Подошла к доске, посмотрела на последний ряд цифр и угловатым почерком дописала ответ.

«Это… правильно. А нельзя ли нам теперь увидеть, как ты пришла к этому? Чтобы чему-то научиться сегодня».

«Разве это не очевидно?» — спросила ты его и подвернула ступню. Две девочки на парте перед нами обменялись злобными взглядами.

«О'кей, но… мы не видели процесс разложения на множители».

«Разве мы все должны видеть?»

«Ну, лично ради меня», — попросил преподаватель умоляюще, а ты закатила глаза, стараясь не рассмеяться. Стерла результат и дописала четыре строчки, которые до этого пропустила, вызвав у себя за спиной работу тридцати обезумевших ручек.

После того как он тебя похвалил, ты вернулась и села рядом со мной. Я начала молча переписывать уравнение в дорогую тетрадь с твердым переплетом. Мне все это было совершенно непонятно. У меня болели соски. Александр их тискал прошлой ночью. Ты, может, и знаешь математику, но зато у меня есть парень. Я разрешила ему положить руку мне между ног, через колготки. Он прижал меня к стене за гимназией и засопел, а я ему подражала, одновременно прикидывая, что из этого расскажу тебе. Я сказала ему, чтобы он сопел потише: если вдруг случайно появится полицейский, папа в тот же день все узнает. А Александр мне сказал, что ему безразлично, хотя сам то и дело переставал целоваться, чтобы проверить, не идет ли кто.

Я все рассчитала: нам остается всего несколько лет до совершеннолетия, и тогда мы сбежим. Мы бы уехали в Италию, потому что там дешевые

спагетти, море и всякие здания, про которые Александр что-то учил на факультете. Я хотела быть той, что уехала. Тебе придется спросить, не можешь ли ты приехать ко мне повидаться. Я представляла себе твои изумленные глаза, когда ты рассматриваешь мою квартиру в Италии, мои дорогие туфли и сумки, самые новые кассеты с музыкой. Я планировала пригласить тебя на ужин, где я свободно говорила бы по-итальянски, а ты бы просила меня переводить. «Моя подруга не говорит по-нашему», — сказала бы я симпатичному официанту, а ты бы только смущенно на нас смотрела. Никакая математика тебе бы не помогла.

На следующей неделе ты пришла в школу застегнутая до самого горла. Волосы были аккуратно собраны в пучок. Села за парту и неловко открыла сумку, так что учебники попадали на пол.

«Что с тобой?» — спрашиваю шепотом, пока ты засовываешь вещи обратно в ранец.

«Ничего. Что со мной может быть?»

«Ты выглядишь как начальница женской тюрьмы… Под кокаином».

Ты незаметно бросаешь взгляд на преподавателя, потом смотришь на меня.

«Сара, хочу тебя кое о чем спросить. Ты и Ацо…»

«Да?»

«А у тебя с ним не было такого… Понимаешь, ну, как сказать… Что ты почувствуешь то, между ног, знаешь?»

«Он мне клал туда руку, если ты про это. Это нормально, такое все серьезные пары делают».

«Да, но… Я имела в виду другое».

Ты снова смотришь на преподавателя. Я не знаю, как мне реагировать на твое покрасневшее лицо. Я никогда еще не была в роли кого-то, кто тебе должен что-то объяснять.

«Мне сегодня приснился какой-то странный сон, — шепчешь ты. — И я проснулась… вся как-то…»

«Ночной кошмар?»

«Да нет. Было приятно. Как-то горячо… внизу, между ног, знаешь? И мокро».

«Ты что, описалась?»

«Сара, прекрати издеваться. Послушай меня».

Преподаватель встал и начал писать на доске новые уравнения. Я ожидала, что тебя это отвлечет, цифры для тебя были всегда интереснее, чем я. Однако на этот раз ты их даже не заметила и продолжала тихо:

«Как-то горячо внизу, понимаешь? Как будто тебя что-то изнутри щекочет и хочет наружу. А тебе хочется, чтобы так и произошло… но такое чувство, что тебя это разорвет пополам… если дашь ему выйти».

«Лейла, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Ты что, не в себе?»

«О'кей. Знаешь, вот когда у мужчин… Когда из них выходит это… Ну, я имею в виду то, внизу, после секса».

«Сперма?» — спросила я тоном знатока. Об этом я читала в Teen прошлым летом.

«Да, это».

«Но ты же не мужчина».

«Да, но… Я почувствовала именно это. Понимаешь? Я думаю, что это было именно то».

«Лейла, сорри, но ты понятия не имеешь, о чем говоришь. У женщин этого нет. У меня парень, уже почти целый год, так что я-то знаю, о чем говорю».

«Ты мне не веришь».

«Да тут нечему верить. Ты проснулась вспотевшая, вот и все. Такое бывает».

Преподаватель посмотрел на нас, мы замолкли и начали переписывать с доски алгебраические выражения. Мы ждали, когда он снова повернет-

ся спиной. Когда ты решила все уравнения, ты передала свою тетрадь мне переписать и продолжила еле слышным шепотом:

«Я тебе расскажу, что мне снилось. Но только, чур, останется между нами, О'кей?»

«Да ты что, Лейла, кому мне рассказывать?»

Она пододвинулась ко мне и еще более тихим шепотом ответила: «Мне снилось, что я принимаю душ вместе с преподавателем математики. Мы были голые, в душевой кабине. Он помыл мне волосы… и спину… и там, внизу, понимаешь?»

Я оторопела, мел в руке преподавателя продолжал поскрипывать по доске. А ты продолжала: «Потом он нагнулся… И медленно развел мне ноги». Тут ты остановилась и сглотнула. Я смотрела на тебя так, будто смотрю фильм ужасов.

«И что было потом?»

«Он поцеловал меня».

«Внизу?!» — спросила я с отвращением.

А ты ответила так серьезно, как будто подтверждаешь, что на самом деле видела инопланетян: «Вни. Зу».

Потом мы идем домой. Ты возвращаешься со мной по аллее, я уговорила тебя помочь мне с заданием. Ты по-прежнему хочешь рассказывать о своем сне и своих ощущениях между ног, хотя

я упорно пытаюсь сменить тему. Я чувствую себя обманутой, словно тебе опять удалось меня обогнать. Ты найдешь способ показать, что твой опыт из сна перевешивает мой реальный. Это было непорядочно. Мне исполнилось пятнадцать, и я позволила Аце прикоснуться ко мне через колготки. На тебя только смотрели, как будто ты необыкновенный десерт в окружении неизвестных столовых приборов. В то лето, в свои четырнадцать, ты меня переросла, вытащенная снизу каким-то несправедливым законом, вдруг оказавшись несколько ближе к небу, чем я. Твои волосы пахли по-другому. У тебя была грудь. Я не могла позволить тебе одержать еще одну победу.

«Лейла, это глупости, — перебила я тебя, — ты даже никогда не целовалась».

«А какая тут связь?»

«Все должно быть по порядку, — объяснила я. — Сначала целуешься. Потом он может хватать тебя за попу. Потом грудь. Сперва через футболку, потом под ней. Потом ты ему — его штуковину. Потом он — внизу, через колготки. Через год можно разрешить ему залезать рукой к тебе в трусы. А ты даже ни разу не целовалась».

В этот момент мы проходили мимо памятника павшим борцам народно-освободительной борь-

бы. На нас смотрели немые партизаны, стоявшие полукругом. Ты сняла рюкзак, оставила его валяться на земле, а сама подошла к ближайшему герою и поцеловала его в рот. Я закатила глаза.

«Так не пойдет».

«Ну так покажи мне».

«Здесь? Сейчас?»

«Да, здесь. Поцелуй… — ты остановилась, чтобы прочитать его имя, — поцелуй Ранка Шипку».

Мне было стыдно целовать мертвую фигуру, но выбора не оставалось. Я наслаждалась тем, что сейчас я тебя чему-то учу. Подошла к партизану, прикоснулась к его пилотке и легко скользнула ладонями по крепким щекам. Мне пришлось привстать на цыпочки, чтобы достать. Я посмотрела в его слепые глаза и языком прикоснулась к каменному рту. Потом обняла за шею и плотно прильнула к холодной военной форме, прижавшись к его губам своими. А ты смотрела на нас внимательно, без слов, будто пытаясь решить еще одно алгебраическое уравнение.

Зимой того года было подписано мирное соглашение. Постоянная девушка Александра забеременела. До этого я чувствовала себя статисткой без режиссера. Не очень понимала, кем я должна быть. Теперь я наконец-то получила

легкую второстепенную роль: бедная Сара. Ее я, по крайней мере, знала как сыграть благодаря маме. Но ты не позволила мне погрузиться в драму. Сказала, что в такой момент глупо плакать.

«Какой момент?» — спросила я тебя.

«Ну все, конец. Мир. Ты телевизор-то смотришь?»

«Какое мне до этого дело?»

Ты смотрела вдаль, на голые ветки тоненьких платанов, на здание, на стене которого было написано: «Муджахедины, вон!» Из маленьких окон свисали мятые флаги.

«Мама думает, что Армин, вероятно, сможет вернуться. Сейчас, когда мир».

Тогда я перестала плакать. Все вдруг потеряло важность, как будто какой-то режиссер хлопнул в ладоши. Пропал дар речи — верните как было! Прошло столько времени с тех пор, как ты в последний раз упоминала об Армине. Я боялась, что скажу что-нибудь глупое, что-то недостаточное или слишком патетическое. Я вспомнила его руки, как несколько лет назад он развязывал мой «хвост». Как он склонил набок голову, чтобы лучше рассмотреть меня, точно так же как ты, когда тебя что-то интересует. Как он держал мой порезанный палец и сказал: «Остров сокровищ».

Его лицо терялось в моей памяти, мутнело, мешалось с твоим. Всякий раз, когда я оказывалась в твоей комнате и видела фотографию с пляжа, оно возвращалось. Но мы никогда не упоминали твоего брата, хотя он был неразрывной связью между нами, нашим тайным паролем, который делал банальным все остальное — Александра, школу, отметки и первые поцелуи.

«Если твой папа что-нибудь услышит…» — сказала ты и посмотрела себе под ноги. Мой папа. Который вдруг решил, что теперь мы ни с того ни с сего должны отмечать «славу». Мама потихоньку от него искала в журналах статьи, где объяснялись народные обычаи. В те дни ошибки в таких делах были непростительными, гости садились за наш стол как присяжные, готовые осудить и за самое незначительное отклонение от правил. Мама забыла подать «жито». Папа смотрел на нее, стиснув зубы, разочарованный, позже он будет ее попрекать. В тот вечер, когда он ударил ее по лицу, я, перепуганная, выскочила из дома, как будто кухню неожиданно заполнили крысы, о которых я не знала, хотя они годами жили в темноте за плитой. Я бежала до самого твоего двора, а потом бросала мелкие камешки в твое окно, пока ты не проснулась и не впустила

меня в дом. Ты включила меня в свою сферу влияния, мы были вдвоем, грызуны ничего не могли нам сделать. Позже мама из-за этого меня избегала, сердилась на меня больше, чем на папу. Мой спектакль сделал ее спектакль неактуальным.

Мой папа. Который в мой тринадцатый день рождения на утренней заре отвел, такой хромой, меня в церковь и заплатил попу, чтобы тот меня крестил. Мама хотела одеть меня в белое платье с кружевами, но папа ей не дал. «Слишком ярко», — сказал он. Церковь была холодной и пустой, как катакомбы. Поп выглядел усталым, ему хотелось оказаться в каком-то другом месте. Я подумала, что, может быть, он спал там, в своем шелковистом одеянии, как откормленная жертва, принесенная к печальным глазам пестро раскрашенного Христа. А я была слишком большой для хлопотливых шумных рук попа и для всех ритуальных принадлежностей. Я была неправильной, хотя ничего плохого не сделала. Он морщился, мой паромщик на переправе к спасению, наемник моего отца. Толстым животом касался моего локтя. Мы шли домой, мои волосы были мокрыми. Мне было холодно. А папа гордо схватил меня за плечо и шагал по аллее так, будто выиграл меня на соревновании.

Мой папа. Который сказал: «У нас через полгода закрывают дело», — а я подумала, первый раз в жизни, что могла бы пропороть ему горло костью от той утки. Ему, который всегда вставал на мою сторону против мамы. Он сказал это походя, между двумя кусками, превращая Армина и все, что было, в дело, которое закрывают. В папку, хранящуюся в ящике.

Мой папа. Который однажды умрет во сне, хотя тогда я этого не знала. Перестанет быть — спокойный, как наевшийся щенок, без единого звука, с улыбкой на лице. Я буду в Дублине игнорировать мамины звонки, потому что к нам в то утро пришли друзья играть в скрабл. Я позвоню ей на следующий день и навру, что забыла телефон на работе. Она плачущим голосом скажет, что папа умер. Как-то удивленно, будто ожидая, что я буду убеждать ее в противоположном. А у меня сразу же невольно возникнет мысль, что это неприлично. Могла бы хоть немного пострадать.

Я не попаду на похороны, опоздаю на самолет. Сумею убедить себя, что это случайно. После этого она меня возненавидит, из-за всех соседок и полицейских жен, которые будут ее спрашивать «А где же Сара?» — и ей придется врать. Я стану испытывать чувство вины, но продолжу упрямо

напоминать себе ту фразу, чтобы мне было легче: «Через полгода закрывают дело».

Мой папа. Если мой папа что-то услышит. Ты сказала это как-то неловко, словно просишь у меня слишком многого. А я ответила: «Конечно».

Я никогда его ни о чем не спрашивала. Не знаю почему. Прошли какие-то дни и какие-то недели. Мир перестал быть новостью. Постепенно вернулось электричество, я могла дольше не ложиться спать. Об Александре я и думать забыла. Я ходила в школу, ожидая каждое утро, что увижу тебя другой и без слов пойму, что твой брат действительно вернулся. Но этого так и не произошло. Армин снова стал тем, кого подразумевают, но не упоминают. Как воздух.

Нам без всяких объяснений прислали новую учительницу математики. Я молча надеялась, что сейчас, раз провозглашен мир, ты снова станешь Лейлой. Однако после стольких лет ты без борьбы сдалась Леле Берич. Маленькая буква «й» в твоем имени принадлежала только мне. Для других ты была и осталась Лела — не станешь же каждый день менять имя и фамилию? Кроме того, тебе, похоже, это больше не было важно. Для тебя эта горстка букв ничего не значила. Так люди, которые слишком часто переселяются,

теряют чувство дома.

Помню лист бумаги со списком принятых студентов, который повесили на двери философского факультета. Помню, что я прочитала «Лела Берич», и подумала, что эта несуществующая уродина обманула тебя на целую жизнь, забрала у тебя все: преподавателя математики, первый секс, место на факультете.]

8.

Я оставила «Астру» на улице Лейлы и решила пройтись до центра. Мой телефон по-прежнему был разряжен, так что мне было нечем осветить дорогу. Шла я медленно, придерживаясь за шершавые ребра чьего-то забора, боясь упасть в какую-нибудь яму, где меня никто не найдет. Темнота здесь была другой. Другой по сравнению с бледным сумраком в Мостаре или с синеватой мглой в Яйце. Была в ней густота, которая смешивалась с воздухом, и от этого казалось, что повсюду меня окружает ощутимая, живая субстанция, а не просто недостаток света. Мне казалось, я ее вдыхаю, она будто смешалась со всеми запахами: далекой, за домами, реки, дыма, спускавшегося с окрестных гор, бурьяна, проросшего из трещин тротуаров. Я боялась, не причинят ли мне вреда частички темноты, после того как заполнят мои легкие и проникнут в кровеносную систему. Мои сосуды слишком долго были чистыми, они не поймут, как реагировать.

Я шла прищурившись, стараясь разглядеть, что впереди. Где-то вдали, ближе к центру виднелся

слабый свет, туманные светящиеся точки на черном, как негатив родимых пятен на спине Лейлы. Я ощупывала пальцами очертания своего города: разросшуюся ограду из терновника, железный забор, через который торчали острые листья, сухую кору какого-то дерева, мусорный контейнер, в глубине которого что-то шуршало и скреблось, чья-то маленькая жизнь, более приспособленная к этой темноте, чем я.

«Здесь и начинается», подумала я. Мы опустились на дно. Я была уверена, что где-то есть источник, из которого вся эта темнота извергается, как густая жидкость, и разливается по тому, что когда-то было моим городом, и ее, и Армина. Как я найду Ранка? Буду искать его холодный каменный рот своими пальцами.

Нужно было остаться на улице Лейлы и ждать ее в «Астре». Эта машина сейчас была для меня чем-то нашим, чем-то живым и подвижным среди глухой темноты и тишины. Она послужила бы мне так же, как прозрачные батискафы для исследования океанского дна, там, где все пусто, глухонемо и где, если повезет, ты, может, наткнешься на скелет какой-нибудь невезучей лодки. Но у меня было всего лишь две ноги и две ладони, которыми я ощупывала это запустение,

и нос, и уши, чтобы они сообщили мне о чудовищах, которые следят из заросших бурьяном дворов. Только когда я дошла до городского парка, глаза немного привыкли к темноте и начали постепенно различать узнаваемые очертания. То там, то здесь слабо мерцал уличный фонарь, как стыдливая девушка в дискотеке. Перепуганный свет отражался от большой фигуры человека — памятника тому, забытому писателю, который веки вечные носит в своих тяжелых руках каменные книги. Петар Кочич. Когда я подошла ближе, увидела, что писатель остался без книг — кто-то отбил ему руки и оставил два обрубка неловко и незавершенно торчать в воздухе. Металлическое мерцание света открывало мне очертания часов на покосившемся столбе, по-прежнему напоминавшем о мощном землетрясении шестьдесят девятого. Однажды, возвращаясь домой после жалкой Ночи музеев, я видела там, как какой-то мужчина бил ногами свою жену. Все мы стояли и смотрели, ожидая, что кто-то другой что-то сделает. Когда мужчина унялся и исчез с площади, та несчастная встала и пошла к рынку. Перед этим пригладила юбку грязными ладонями. Часы по-прежнему молчали. Как и люди.

Сейчас на площади никого не было, или же

я была не способна никого разглядеть в темноте. В воздухе плескались полотнища с рекламой, усталые духи, укрывавшие собой так и не достроенный отель. Тут рядом со мной кто-то прошел, какая-то мелкая и медленная фигура, так близко, что я в страхе отскочила. Потом я заметила и вторую, и третью. Двигались они медленно, в разные стороны, как шахматные фигуры, у которых кто-то отнял доску. Они были тут все время, но такие заторможенные, что я не почувствовала в темноте их присутствия. Сначала я подумала, что окружена детьми: в темноте мне не удавалось рассмотреть лица, но по сравнению со мной они казались мне неестественно низкими. Правда, в их движениях не было и следа детства — перемещались они вяло и тяжело, будто своими малосильными телами тащат севшие на мель баржи. Тут я поняла, что все они в солидном возрасте. Их выдали тяжелые вздохи и едва заметный отблеск седых голов. Меня окружала толпа стариков. Их позвоночники искривились почти до земли. Некоторые, явно более чем я привыкшие к темноте, останавливались, когда замечали меня. Под светом одной еще не перегоревшей лампы, свисавшей со старого универмага, мне улыбнулась старуха и тут же изумленно

перекрестилась, как будто увидела давно умершего члена своей семьи. Самые молодые лица, встреченные мною той ночью, смотрели на меня с обрывков предвыборных плакатов из какого-то другого времени, приклеенных на фасады вдоль главной улицы.

В центре то тут, то там светились окна, это помогло мне найти двор своего дома. Но то, что я обнаружила, оказалось лишь памятником моему дому, обросшему травой, облупленному и забытому. Не было больше старой сосны, под которой я когда-то похоронила трех своих черепах. Они лежали, холодные, на моих ладонях, шеи их были неестественно загнуты и беззащитны, полностью вне панциря. Папа и мама не знали, что я их там закопала. Они боялись, что их может выкопать собака, и велели мне положить черепах в пластиковый пакет и выбросить в мусорный контейнер. Для меня это было немыслимо. Мои черепахи заслужили лучшего. Хотя именно я была виновата, мама мне это объяснила. Я их неправильно кормила, не чистила вовремя аквариум, а это была моя обязанность, не ее. Я все еще помню их холодную тяжесть на ладонях и то, как я подумала, что это смерть, что я это сделала. Я закопала их глубоко в землю,

колени у меня потом были грязными, и ногти. Но та сосна служила утешением. В ней было все мое детство, неоспоримое и надежное, тихий свидетель, который знал о моих черепахах, который будет еще долго существовать после меня и помнить мой грех. Будет нести его на своей крепкой шершавой спине.

Сейчас я стояла на углу и смотрела на бессмысленное пространство, которое когда-то заслоняли сосновые ветки. Когда она ее срубила? После папиной смерти, должно быть. Может, какой-то вредитель напал на ствол. Я не знала, с тех пор как я последний раз говорила с мамой, прошли годы. Видимо, ей не пришло в голову, что я — это кто-то, кому нужно сказать, что сосну срубили.

Если часть меня и хотела увидеться с ней, то после того, как я увидела ту пустоту, она затихла. Это больше не был мой двор. Это больше не был мой дом. Я увидела, что она поменяла и дверь — новая стала шире, с двумя большими деревянными створками, как усыпальница какого-нибудь известного духовного лидера. А потом дверь открылась так резко, что я тут же спряталась за соседский дуб, а потом присела на корточки за розовым кустом в страхе, что меня кто-то увидит.

Из дома, который когда-то был моим, в котором я когда-то давно сидела с Лейлой и делала задание по математике, вышла незнакомая маленькая женщина с длинной искривленной шеей. Изнутри проникал свет, который помог мне лучше ее рассмотреть. У нее были короткие темные волосы и большие толстые очки на кончике широкого носа. Никогда раньше ее не видела. Потом женщина вернулась в дом, будто что-то забыла, что-то такое, для чего был нужен такой проход. В следующий момент вышла обратно, катя тяжелое инвалидное кресло, в котором сидела моя мама. Сначала я увидела белые отечные ноги, в которых не было и следа жизни, казалось, будто мою маму кто-то облепил чужим мясом, салом какого-то несчастного животного. Там, где должны быть колени, лежал вялый живот. Вместо матери я видела однородную груду сала, на вершине которой были тонкий кустик светлых волос и два маленьких глаза под наморщенным лбом. Она была изуродована, словно ее взял в свои неловкие руки какой-то гигантский ребенок и деформировал, как пластилин. В темноте я пыталась найти на ее лице что-то от той женщины, которая когда-то заплетала мне косу так туго, что я и сегодня помню боль в темени.

Я хотела вызвать в памяти маму, которая стригла мне ногти, собирала меня в школу, клала мне в сумку яблоко и шоколад и говорила, чтобы я возвращалась домой по главной дороге, а не перелезала через заборы и все видели бы мои трусы, будто я деревенщина, а не дочка начальника полиции. Я искала в этой необъятной груде сала что-нибудь, что было бы как-то связано со мной и моей жизнью, с местом, откуда я родом; так после землетрясения пострадавшие приходят в свои разрушенные дома, чтобы найти хоть какие-то свои вещи, а там ничего нет. Только пыль и разбитое стекло.

Маленькая женщина припарковала инвалидное кресло возле садового стола, а моя мать, проведя пальцем по клеенке, взвизгнула: «Хоть что-нибудь в этом доме может быть чистым?!» На эти слова та, другая, вытащила из кармана фартука тряпку и начала энергично тереть стол, на что моя мать смотрела с отвращением.

«Хотите сразу обед, или…» — спросила дрожащим голосом несчастная.

«А когда же, может быть, завтра?»

На столе быстро появилась еда. По-прежнему спрятавшись за кустом, я смотрела на свою мать, как она ест. Ее руки по сравнению с остальным

телом казались маленькими, пальцы толстые, надутые, с блестящими подушечками. Она подносила пищу к маленькому пухлому рту с утомленной послушностью, без всякого видимого удовольствия. Это было что-то, через что она должна пройти, что-то почти бюрократически утомительное — все эти хлеб, и мясо, и картошка, и пита, и еще столько же чего-то, что мне не удалось рассмотреть. Видела я и ее блюдо с цветочками для особых случаев. За двенадцать лет оно стало меньше. Цветочки побледнели, местами стерлись.

«Пееетка! Пееетка!» — закричала она между двумя кусками чего-то. А Петка выглянула в окно, из которого шел пар от следующего блюда.

«Слушаю вас, госпожа», — ответила она.

«Не забудь про рыбу. В прошлый раз она у тебя подгорела».

«Не беспокойтесь, госпожа, я за ней приглядываю, как раз успею сделать баклаву».

«И отрежь им сначала головы для ухи», — добавила моя мать с половиной картофелины во рту.

«Что вы сказали, госпожа?» — крикнула Петка.

«Я говорю ОТРЕЖЬ ИМ ГОЛОВЫ! Ты что, глухая?»

«Да, да, это я сейчас…» — послышался ответ

из кухни.

Врать не буду, когда Лейла велела остановиться возле дома, я про себя подумала: а вдруг это как раз тот день, когда я увижу мать, извинюсь, что пропустила папины похороны, что не звоню ей. Я представила себе эту сцену — мы обе бы плакали или только я, она бы меня обняла, измененная временем и утратой, сказала бы что-то такое, чего никогда раньше не говорила, от нее бы пахло сладковатыми духами, которые она покупала в наборе с кремом для тела и маслом для волос, она сварила бы мне кофе, спросила бы про Майкла. Сейчас мне стыдно за такой пафосный сценарий. Я пряталась за чужими розами и смотрела, как она обжирается. А потом я, пытаясь скрыться незамеченной, умудрилась оцарапаться шипами. Рванула в сторону так, что шуршание услышала и мать, которая моментально перестала есть и посмотрела в мою сторону. Она щурилась без очков.

«Пееетка! — закричала она. — Петка, там кто-то есть, в розах!» Я побежала так быстро, как только могла, хотя Петка, конечно же, ее и не услышала, да и ей, такой маленькой и рахитичной, не удалось бы меня догнать, даже если бы она захотела. Я бежала по темной улице, уже да-

леко от уродины в инвалидной коляске, которая смотрела на меня двумя маленькими глазками, глубоко вжатыми в пластилин. Я бежала до самых народных героев, думая об отрезанных рыбьих головах, как они плавают в большой кастрюле на ее плите. Я спряталась за памятником и, когда убедилась, что никто за мной не гонится, села на ступеньку, чтобы передохнуть.

Мне бы хотелось быть одной из тех героинь современных романов, которые нам, обычно в самом начале сюжета, дают понять, что они никогда не плачут. Про них говорят что-то типа «не могла плакать, хотя ей и хотелось» или «в последний раз она плакала, когда ей было четыре года». Примерно так. А мы думаем: вот, как хорошо, что писатель избежал сентиментальности, создал сильный образ. Но эта книга не обо мне, себя я не могу выдумывать и дописывать — я сидела на этом памятнике и ревела как ребенок: и глазами, и носом, и ртом, и плечами, считая, что до того, как придет Лейла, у меня достаточно времени, чтобы промокнуть глаза и подтереть сопли. Я плакала так, будто могу этим доказать, что когда-то что-то существовало, какая-то идея дома и семьи, история, которую я могу рассказать приятелям Майкла под вино и канапе. Я чего-то

ждала, как Лейла в музее АВНОЮ. Понятия не имею чего.

В темноте мне не было видно его лица, но я знала, кто из этих героев — Ранко Шипка, он там, с краю, почти последний в группе. Все они смотрели прямо, только у него голова была слегка повернута в сторону. Мне нужна была старая, еще из средней школы, способность найти какую-то высокую цель, придумать трогательную драму и поместить ее в центр своего дня как монетку, которую засовывают на счастье в рождественский хлеб. Я улеглась на памятник, подложила руки под щеку и представила себе этого молодого бойца, как он поднимает брови и мелкие кусочки камня скатываются по его лицу, когда он моргает, одну ногу ему уже удалось вытащить из холодной мраморной плиты, а потом и другую, он как ребенок, который заново учится ходить после того, как с него сняли гипс. Он шагает ко мне, этот человек-памятник, стряхивая с формы камешки и пыль, такой высокий, прямой, с пилоткой в руке. Подходит и спрашивает: «Товарищ, с тобой все в порядке?» А я бы ему рассказала про сосну и про моих черепах, и про мою мать, которая сейчас стала почти такого размера, как и то несчастное государство. А он, Ранко Шипка, народный ге-

рой, 1917–1944, он взял бы меня на руки так, как это когда-то делали военные в старых фильмах, под звуки какой-нибудь староградской баллады в исполнении отца Лейлы, и отнес назад, к памятнику, от которого только что пришел ко мне. Он возвращается внутрь: сначала одна его нога снова становится частью мрамора, потом другая, а мое живое, органическое тело без возражений принимает участие в этом последнем ритуале. Закостенели бы его руки, и я в них, и мой рот, и мои веки, все то, что я называю собой, засохло бы, затвердело и превратилось в камень. Мы остались бы там, навсегда одни и те же, и он бы мне сказал: «Шшшшшшш, теперь все в порядке». Издалека я слышала колокола какой-то церкви, звук распространялся медленными кругами, как бывает, когда равнодушная детская рука роняет камешек и нарушает покой грязной лужи. А Ранко все говорил: «Шшшшш, шшшшш…»

Когда я проснулась, то увидела Лейлины глаза. Они опять были черными. Она лежала рядом со мной и смотрела на меня.

«Ты в своем уме? — шепнула она. — Что ты спишь на памятнике как ненормальная?»

«Ранко виноват», — ответила я. Она знала, что я плакала, у нее были сенсоры для всех моих

проявлений чего бы то ни было человеческого.

«Куда делись синие линзы?» — спросила я.

«Я их сняла, еще раньше. Из-за мамы».

«Как твоя мама?»

«Как всегда, — ответила она. — Она дала нам пирог со шпинатом».

Я перевернулась на спину и посмотрела на небо, но не смогла распознать разницу между той темнотой, что наверху, и той, что нас окружала. Небо слилось с Банялукой, а мы парили в пространстве между ними, на холодном камне.

«Сара, — сказала она в какой-то момент, — пошли отсюда».

[Автобус тих. Снова сидим в самом конце салона, каждая у своего окна. Между нами — толстый учебник, «Введение в общую лингвистику», экзамен через десять дней, а мы ничего не выучили. Что-то закончилось или, по крайней мере, начало заканчиваться. Не хочу себе в этом признаться. Мы провели почти весь август на острове, объедаясь маслинами и жарясь на солнце. Сейчас мы глазеем в окно на пейзаж, который бесповоротно трансформируется во что-то серьезное, континентальное, из бетона. Исчезли песок и море. Автобус дрожит и прыгает по ухабам, как будто мы в утробе какого-то проглотившего нас живот-

ного, которое трясется от страха. По-прежнему жарко. От поролоновых сидений несет пылью и запахом всех предыдущих пассажиров. Ноги у тебя загорели и все в красных следах укусов, на которых ты ногтем поставила крестики. За окном ничего нет. Только чьи-то маленькие дома и чьи-то маленькие жизни. Каждый новый порог это исчезающий за нами кусочек нашего лета.

Это последний раз, когда я вижу твои черные волосы, хотя в тот момент я этого не знаю. Хочу заговорить с тобой, но все, что я могла бы тебе сказать, кажется мне фальшивым, чужим. Слова меня предали. Если бы я могла составить извинение в цифрах, я бы это сделала. Но я не знаю, как воспользоваться в моих целях математикой. Это какой-то другой вид мышления для тех людей, которые видят смыслы вне языка, для прямых и острых умов, таких как твой. Возвращаюсь, как всегда, к своим нищим словам. Я трепещу. Говорю тебе: «Потому что для смерти нужна фантазия. Творческая фантазия». Ты смотришь на меня утомленно, каким-то «ты, должно быть, шутишь» взглядом. Но ты всегда была из тех, кто уважает игру, даже если презирает других игроков. Не говоришь ничего, только встаешь и устало движешься по узкому проходу от конца

и к началу автобуса, разглядывая по очереди всех пассажиров, чтобы попытаться найти книгу, которую я цитировала, в руках у кого-нибудь из немногочисленных читающих. Потом возвращаешься на свое место, пробормотав «Иван Галеб», задираешь ноги на сиденье и закрываешь глаза. Ты что-то растоптала у меня внутри. Смотрю, как ты делаешь вид, что спишь, и знаю это. Устойчивое словосочетание, «мы с Лейлой», было разрушено на том острове. И это сделала я, в море, одной фразой.

Рано или поздно автобусы доезжают до конца. Мы вернулись домой, нас зачислили на второй курс. Я позвонила тебе перед первым занятием, чтобы пойти вместе. Твоя мама сказала, что тебя нет дома.

«Ничего страшного, — ответила я, — встретимся там».

Но там тебя не было. Я зашла в амфитеатр и села в последнем ряду. Люди приходили, садились на скамейки, открывали тетради, точили карандаши. Потом появилась преподавательница. Сказала, что мы должны поставить подписи в списке, и пустила листок по рядам. Ей потребовалось много времени, чтобы дойти до меня, я была последней. Подписалась рядом со своим

именем, а потом в самом начале списка нашла и твое. Лела Берич. И твою неразборчивую, угловатую подпись красной шариковой ручкой. Ты пришла на занятие. Мои глаза перескакивали с одной головы на другую, но мне не удавалось тебя увидеть. Мы сидели вместе весь первый год. Черт побери, мы сидели вместе с первого класса начальной и потом всю среднюю школу. А сейчас ты была где-то в другом месте. С кем-то, кто не знает про Армина. С кем-то, кто не знает про воробья. Я все испортила.

«Коллега, не могли бы вы принести мне список, если все уже подписались?»

Ко мне поворачиваются все головы, но из-за моей близорукости ни одна из них для меня не твоя. Встаю, иду по ступенькам так, будто меня ждет эшафот. Передаю преподавательнице список и отправляюсь назад, к своему месту. И тут вижу тебя. Ты сидишь во втором ряду. Волосы у тебя светлые. Эти волосы, от корней до пупка желтого цвета, неправильные. Они оскорбляют всю нашу дружбу.

Какой-то парень что-то шепчет тебе в ухо. Ты смеешься, не смотришь на меня, когда я прохожу мимо вас, тебя и твоих поддельных волос, ты хохочешь так, будто ты кто-то другой, лоботомия

проведена успешно. Лела Берич.

Я медленно иду к своей скамье и чувствую, как с каждой ступенькой у меня исчезает по части тела. Преподавательница говорит о фонетике, передо мной лежит раскрытая тетрадь, новая, еще пахнущая новой тетрадью, а твоя голова, покрытая пошлой желтизной, застит мне взор, раздражает глаза, как песчинка. Сижу и слушаю, опустошенная и усталая. Потом встаю и иду домой, качусь вниз по главной улице, как выброшенная пустая консервная банка. Оставаться и говорить хотя бы слово не имело смысла. Ты все объяснила мне этими своими волосами и тем идиотом, который шептал тебе в ухо, и его мясистый рот почти касался твоей маленькой сережки.

Я вернулась домой, и меня вырвало. Мама зашла в ванную, закрыла дверь и нервно прошипела, тихо, чтобы папа не услышал: «Ты что, беременна? Я уверена, что ты беременна!» От чего, хотела я спросить ее? От Лейлы, которая умерла на том острове и ее больше нет? От рыб и крабов? Опасных морских течений? Но я только помотала головой, умылась и ушла в свою комнату. Тогда я поняла, что, в сущности, у меня нет никого, кому я могу позвонить и пожаловаться

на проклятую Лелу Берич. Я была одна, я была такой, как всегда — свернувшимся на кровати побочным явлением. Все было кончено. Я распорола нашу дружбу. Больше ничто не связывало меня с Армином. С делом, которое закрывают. Что заключенные делают в первый день, после того как выйдут из тюрьмы? Они чувствуют страх. Необъятный, монолитный страх перед морем возможностей. Думаю, я поняла это в тот момент, на той кровати, одинокая, обыкновенная и без буквы «й» в твоем имени.

И потом еще один день, и вся неделя, и месяц. Я осознала время, то, что измеряется стрелками и звоном. Я осознала продолжительность одной минуты и одного часа, пульс отождествился с секундами. Один день без нас двух. Две недели без нас двух. Где-то в диафрагме у меня лежал электронный таймер. Моя жизнь распалась на до и после, как будто я пережила тяжелую автомобильную аварию или вступила в тоталитарную секту.

Я попыталась тебе позвонить один-единственный раз. Твоя мама сказала, что тебя нет дома, таким нежным голосом, как будто извинялась, что вынуждена лгать. И помнишь тот вечер, когда я наткнулась на тебя вместе с каким-то типом

рядом с могилой Сафикады? Ты всегда любила это место, еще с тех пор, как мы были девчонками. Ты знала о нем давно, еще до того, как городские власти решили его увековечить. Тебя совершенно не впечатлила ни история любви, ни лик какой-то мифической девушки, не свечи, которые банялучанки позже оставляли на камне, веря, что, поклоняясь истории чужой любви, придадут больше смысла собственной. Нет, для тебя все это были глупости. Тебя впечатлила смерть. Смерть, которая не спрятана на кладбище, в окружении цветов и плакальщиц, а та, что выставлена в центре города на всеобщее обозрение. Нечто столь простое, что неосведомленный путешественник прошел бы мимо этого места, не глянув на него больше одного раза, не зная, что полой своего пальто он на миг прикоснулся к смерти. Но в тот вечер ты просто случайно шла там с каким-то типом, актуальным в тот месяц. Вы были навеселе. Наткнулись на меня, позорно трезвую для субботы, и расхохотались. Этот тип, уже не помню, кто именно — их было столько за все годы, — сказал: «Вот и красивая однокурсница…» или что-то в таком роде. А ты лишь засмеялась тем новым смехом, который отрабатывала в последний месяц как пощечину всей нашей истории. Ты

потянула его за рукав, и тем дело и кончилось. Я осталась рядом с Сафикадой, рядом со смертью. Одна из свечей наклонилась, с нее капало, воск образовал маленький мостик от фитиля до камня. Я попыталась ее выпрямить, но ничего не вышло, только сломала. Оставила такой, изуродованной и погасшей, рядом с другими. В конце концов, кто я такая, чтобы выпрямлять чужие свечи, исправлять чужие клише? Я подумала, что ты, возможно, была права: никому умному не следует со мной дружить.

В туалете на втором этаже философского факультета кто-то фломастером написал: «Весь наш город теперь знает, как ноги Лела расставляет». Я достала из сумки ключ и соскребла твое имя со стены. Я оберегала тебя и там: в грязных сортирах, полных чужой мочи и использованных презервативов. Я оберегала тебя, хотя ты больше со мной не общалась, хотя этот случайный четырехстопный хорей на стене, вероятно, отражал правду. Мне не нужна была твоя благодарность. Я делала это ради себя, чтобы иметь право на крохи собственного достоинства, ведь я была за справедливость. Безымянный герой туалета на втором этаже факультета. А ты за это время расставляла ноги под каждым прыщавым кретином

с нашего курса. Исчерпав их, ты переключилась на дипломников. Я сидела на одной скамье с тремя девицами, у каждой из которых на лице было по одному проклятию: большой нос, большой лоб, большие зубы. Они выносили свои приговоры с омерзительным единодушием и сообщали одна другой сплетни, провожая взглядом очередную жертву, которой в большинстве случаев оказывалась именно ты. «Посмотри на эту потаскуху, прямо взглядом предлагает собой попользоваться», — говорили они. «Надо же какой сброд пускают на факультет в наши дни…», и «Как она исхудала от траханья», и другие столь же невыразительные мантры, которыми они, хотя бы на мгновение, превращали себя в нечто красивое и чистое, нечто, отличное от Лелы Берич. А я меняла тему, расспрашивала их о каком-то конспекте или чьей-то консультации, но не из-за того, что мне мешала их гадостность, а для того, чтобы перестать слышать это имя. Тогда они резко поворачивались ко мне, как трехголовое чудовище с шестью глазами, злобные из-за того, что я прервала их сеанс магии. Они упивались твоими похождениями как библейской притчей о падшей женщине, которая когда-то была непорочной. Но я знала истину. Не было тут никакой

утраченной чистоты, никакого грехопадения. Это Лела расставляла Лейлины ноги, проституировала, тащила ее за волосы по наклонной плоскости. Мужчины были лишь потрепанными картами в твоих ловких руках игрока в покер. Ты хотела растянуть свое выдуманное имя между всеми этими персонажами, пока оно не разорвется, пока его не изваляют в дерьме столько раз, что ему больше не останется ничего другого, кроме как сдохнуть, одиноким и истощенным, как пьяница под мостом. И когда твоя вторая кожа отомрет и засохнет, тебе, может быть, удастся ее с себя сбросить. У тебя снова отрастет черная грива. Ты снова станешь ты. Когда-то я верила в это или хотя бы хотела верить. А потом, годы спустя, я увидела тебя перед рестораном в Мостаре и поняла, что была не вполне права. Ты забрала у своих волос весь цвет и села в белый автомобиль. Гадюка сбросила все свои кожи, а новую не нарастила. Отвергла чешуйки, они причиняли больше боли, чем солнечные лучи.

Ты таскала Лелино имя по туалетам. Я волокла Сарино по литературным журналам. В конце концов, не сводится ли все это к одному и тому же? Я начала писать после того, как ты покрасилась в блондинку. Я хотела иметь что-то под

контролем, быть богом каких-то маленьких миров. Я выдумывала героинь, чьи ноги были сильнее моих, которые не плакали из-за малейших мелочей, давали правильные ответы на языке, который я никогда не использовала. Я выдумывала наполовину людей, наполовину уродов и их нереальные маленькие хобби — коллекционирование бабочек, например. Посылала их невозможными маршрутами, где они теряли все, где я сводила их к самому низкому, что в них было, но откуда им перед самой последней фразой все же удавалось выползти. Я спасала их ничтожные жизни. Милостивая богиня без лица. Как-то ночью я даже придумала целого черноволосого мужчину, рубашки которого пахли лимоном, который носил в кармане карандаш НВ и имел шрам на щеке. Придумала книги в его руках и испачканные графитом пальцы и тротуары под его туфлями. А потом, однажды ночью, просто его убила, двумя фразами. Я выдумывала глупые, нелогичные истории, в которых наш город напоминал заколдованный скандинавский городок, где никогда не было никакой темноты, где люди не исчезали, а мои героини могли беззаботно купаться в реке. Во всем этом было мало смысла, но меня это не волновало, ведь

если одно слово легко нанизывается на другое, нет необходимости останавливаться и думать об ответственности. Иногда истории были короткими, незаконченными и недосказанными, и тогда я разрезала их на строфы и делала из них плохие стихи. Писала я слишком быстро, не раздумывая, в тетради для математики. Я никогда не любила линии. Я писала грубые слова там, где должны были стоять твои цифры. Заполняла клеточки, будто фаршировала перец. Рассылала их во все стороны: где бы ни находила хоть какой-нибудь литературный журнал — левый, правый, студенческий, академический, в центре метрополии или в дыре в провинции — мне было неважно. Один из них, думала я, рано или поздно попадет к нам на факультет, окажется в библиотеке. Одно из моих стихотворений или рассказов дойдет до тебя, хочешь не хочешь, придется его прочитать под моим глупым, монолитным именем. А если я напишу что-то действительно ценное, каким-то маленьким языком, который лежит под тонной лживых слов, возможно, я доберусь и до Армина.

Но ты все это стоически игнорировала, мои стихи отскакивали от тебя, как пули от бронированного автомобиля. Ты появилась на презентации моего сборника, там, куда папа пригласил

струнный квартет и заплатил сухопарой актрисе, чтобы та прочитала мои тексты. Презрительно посмотрела на весь этот цирк, я видела твой взгляд в последнем ряду. Ты пришла с каким-то типом, ты их таскала с собой как костыли, а мне было стыдно за жалкие стихи в устах переоцененной актрисы. На столе лежали экземпляры моей книги. Я смотрела на них с сожалением, словно это птицы, которых я раздавила своим сапогом. Я знала, что ты думаешь: что я продала им какую-то несуществующую историю, что я умыла руки после всех своих преступлений, что только ты знаешь настоящую меня, которую я ловко оставила вне этих обложек. Ты, Лела Берич, которую вся шпана в Банялуке воспевала в сортирах четырехстопным хореем и которую эти типы передавали друг другу из рук в руки как эстафетную палочку, осуждала меня и мое чистое литературное преступление. Я изрыгнула весь этот язык напрасно, профукала его на вымыслы, в то время как в твоем дворе, под черешней, по-прежнему стоял твой красивый брат. Мы его переросли. Я видела все это в твоем взгляде. А потом ты потянула того типа за рукав и исчезла с моей слишком пышной презентации еще до того, как скрипачи запиликали Баха.]

9.

«Я хочу пи́сать», — торжественно заявила она и принялась рыться в сумке. Я сделала вид, что не слышала. И посмотрела в зеркало заднего вида, чтобы якобы решить какую-то очень важную водительскую проблему. Мы находились в пустоте — впереди и за нами простирался однообразный асфальт. Насколько мы удалялись от Банялуки, настолько и темнота становилась жиже, легче для глаз. Я видела дома, маленькие и разбросанные, как камешки, отколовшиеся от какой-то скалы. Видела мертвые, засохшие цветы в чужих дворах. Видела запустение. До границы нас ожидало еще совсем немного дороги. Каждой порой своей вспотевшей кожи я чувствовала, что мы едем к выходу, примерно так же, как обезумевший утопающий наконец-то понимает, где поверхность, а где дно реки. Еще полчаса — и Босния останется за нами.

«Алло? Ты меня слышала?» — спросила Лейла и хлопнула меня по плечу.

«Здесь нельзя останавливаться».

«Придется, я на одну капельку».

На капельку. Она была, видимо, единственным человеком, который так говорил. Складываем маты после урока физкультуры. «Сара, на одну капельку», — говорит Лейла и оставляет меня в одиночку отрабатывать наше общее наказание. Сидим на том чудовищном концерте перед вручением дипломов. «Я на одну капельку», — говорит Лейла всем и никому и встает посреди Чайковского, заставляя подняться целый ряд ожидающих свои дипломы, — и это только для того, чтобы добраться до туалета.

«Потерпи», — говорю ей, хотя и сама бы уже тоже не прочь на капельку. Чувствую на себе осуждающий взгляд. Знает, что я страстно желаю вытащить нас из этой темноты и что я, если потребуется, уеду из Боснии даже описавшейся. Мне стыдно за это явное желание.

«Сара, прошу тебя. Мне действительно надо пописать».

«Осталось чуть-чуть».

«Сара, мать твою…»

«Я не стану здесь останавливаться».

А потом все происходит очень быстро, быстрее, чем я могу это осмыслить — ее худая рука на руле сильнее двух моих, вместе взятых, «Астра», как перепуганный зверь, истерически подчиняется

ее резкому движению, моя голова со всей силы ударяется о дверь, с левой стороны от нас — кукурузное поле, листья, как оскорбленные дамы, наносят машине пощечины, моя нога на тормозе. Стоп. Вокруг нас все позоряще живое и непроходимое.

«Какого хера?! Что ты себе позволяешь?» — проорала я, но она уже вышла, сильно хлопнув дверью. Я в бешенстве выкрикнула ее имя, которое лишь тупо отозвалось эхом и растворилось в темноте, слишком хрупкое, чтобы остановить ее длинные ноги. Я различаю силуэт, она пробирается между стройными растениями, как будто ей не впервой заниматься вандализмом на кукурузном поле, как будто ей принадлежит все сельское хозяйство этого мира. Однообразная флора поглотила ее прежде, чем я смогла этому как-то воспротивиться.

В зеркале вижу свою окровавленную голову. Рана небольшая, но болезненная. Челка до нее не достает, значит, не смогу ее скрыть. Проклятая, чокнутая Лейла. Неужели никто на этом свете не мог отвезти ее в Вену? Проклятая Вена, которая отсюда, с кукурузного поля, кажется несуществующей. Почему ее не отвез Дино, он что, не в состоянии, ему запрещено? Когда я его видела,

колени у него выглядели совершенно здоровыми. Может, он за что-то осужден, и ему не разрешено перемещаться, может, у него испытательный срок, потому что он ограбил какой-то киоск. Ей, похоже, важно, чтобы я увидела Армина. Она могла воспользоваться кем угодно и никогда мне не позвонить, и ей было бы наплевать, знаю я или нет. Я провела бы свою жизнь в благоденствии, рядом со своим голым соседом, со своим деревцем авокадо. А так я сижу с окровавленной головой почти на самой границе Боснии, счастливая, что не сломала шею только из-за того, что Лейле Бегич приспичило попи́сать.

Я вышла из машины, сопротивляясь острым зеленым листьям. Несмотря на темноту, было невыносимо жарко. Я обдумывала, что сказать первому любопытному водителю, который остановится возле места происшествия. Что сказать полиции. Что сказать Майклу, хотя маловероятно, что он когда-либо об этом узнает, — мой телефон мертв, еще с АВНОЮ.

Олень. Выскочил олень, прямо перед машиной, я растерялась и резко свернула. Так им и скажу. Но есть ли тут вообще олени? Я не могла прогуглить свое предполагаемое вранье. Посмотрела в ту сторону, куда ушла Лейла. Ее не увидела. Мир

превратился в сотни зеленых подъемных кранов. Я знала, что она где-то там, сидит на корточках. Делает вид, что ее поступок был совершенно нормальным. Возможно, так бы и было, если бы все произошло в другое время, а мы были бы теми девчонками на берегу реки. Но это не так. Даже она знает, что все это плохо. Мы уже не те, мы не делаем глупости, машина чуть не перевернулась, мы могли серьезно пострадать. Как долго ей надо сидеть в кукурузе, чтобы признать это? А может быть, все было спектаклем, чтобы доказать мне — скучной, взрослой мне, — что я ни на что не гожусь, что я изменилась, а она осталась той же?

Пробираюсь через кукурузу и не вижу ее. Расталкиваю высокие растения, будто они люди на каком-то немом концерте. Стебли тут же возвращаются на место и хлещут меня по спине и лицу. Я — та, кто нарушает их простую вертикальность. Шла ли я прямо или же в какой-то момент бессознательно свернула с нужного направления? Что, если я хожу по кругу? Не может быть, я сделала всего несколько шагов. «Астра» по-прежнему у меня за спиной. Белеет в темноте, среди зелени, как скелет утонувшего судна. Продолжаю идти и ругаться. Нога наступает на

мягкую, мокрую землю. Она была здесь, эта хамка, она заставляет меня идти по ее примитивному следу, словно я щенок. Куда она ушла? Может, мне громко засмеяться, показать ей, что я восприняла все как шутку, что все в порядке? В полном порядке. Тогда я смогу ее хотя бы унизить.

Я почувствовала, что и сама должна попи́сать, преступлению придется подождать. С трудом стащила джинсы с вспотевших бедер. Один лист прилепился к моей заднице. Я и забыла, как жарко в Боснии. Боснии, которую съела темнота, по которой ползали старики, на которую я писала. А Лейла, где была Лейла? Я слышала, как вдалеке шуршат ее шаги. Я подтерлась полузасохшим листом и натянула джинсы. И увидела, что поле меня обмануло: тут не было никакой жизни. Они были мертвы, все эти кукурузы, все до единой. Жара иссушила их суть, искалечила стройные растения. Темнота украла их цвет. Мы находились посреди кладбища кукурузы, о которой кто-то забыл, оставив умирать в темноте возле шоссе.

Лейла по-прежнему ходила у меня в ушах, я слышала, как ее кроссовки топают по сухой земле и мертвые растения хлещут ее по голым плечам. Я больше не знала, с какой стороны

я пришла, где «Астра», да и где она. Двинулась в одном направлении, потом в другом — безуспешно. Поле вдруг стало безграничным, оно ширилось во все стороны. Я обернулась, но и машины за спиной у меня не было. Я хотела крикнуть, сказать, что это уже не смешно, но испугалась: вдруг мы здесь не одни? Возможно, на этом кукурузном поле когда-то давно исчезли и другие женщины. Последний заколдованный лабиринт для упрямых босниек, который нужно преодолеть, чтобы оказаться на пограничном переходе. Это говорила нам наша маленькая страна, наш сраный якорь: «Не спеши, куда это ты собралась?» Умерли ли они здесь, те девушки, жаждавшие эмиграции, среди этих засохших стеблей, в шаге от спасения? Превратились ли их кости в пыль, смешались ли с землей, на которую Лейла и я сейчас писали?

Было жарко, и я проголодалась. В моей голове по-прежнему пульсировала тупая боль. Я села на землю, чтобы не потерять сознание. Если я вырублюсь, бесплодная земля проглотит меня. Я напомнила себе, что у нас есть план. Мы пересечем границу и как-нибудь дотянем до Загреба. Там я смогу принять душ, поужинать и поспать, прежде чем мы продолжим путь в сторону Ав-

стрии. Прошло всего несколько дней. Еще столько же — и я вернусь к Майклу. Эта мысль меня успокоила. Я подумала, что все в порядке, все идет по плану, настолько успешно, что я даже могла бы поспать, спрятавшись на этом поле. И была бы в полной безопасности, меня никто бы не нашел.

Почувствовав вдруг необъяснимую усталость, я легла на землю. Мне была нужна передышка — от темноты, от езды, от Лейлы. А потом я услышала ее шаги. Она была все ближе и ближе. Она могла найти меня и в темноте, чувствуя кровь за километры, как акулы. Кукуруза вдруг стала похожа на ничего не значащие соломинки. Я видела над собой ее худую фигуру и белые пряди, свисавшие почти до моего лица. Она расплела косу.

Потом оттолкнула от себя навязчивый стебель кукурузы и села на землю. Потянулась к моим ступням, чтобы положить их себе на колени, отчего я так сильно дернулась, что случайно ударила ее по локтю. Мне все было безразлично. Пусть и ей будет больно.

«Лейла, какого хера, что с тобой?» — сказала я и встала.

«Нет, это какого хера что с тобой? Я же сказала, что хочу писать».

«Ты могла нас убить!»

«Нас убить? Да не пизди, мы просто свернули с дороги. Буквально».

«Нет, я серьезно. Нельзя так себя вести. Не годится. Машина чуть не перевернулась».

Она глубоко вздохнула и легла на землю.

«О'кей, хватит уже… Знаешь, что сейчас я вспомнила? — спросила она, а потом тут же сама себе ответила: — Помнишь Майю из четвертого бэ?»

«Да пошла она в жопу, эта Майя из четвертого бэ. Сначала цирк с английским у Кнежевички, теперь это говно. Меня уже тошнит от твоих глупостей».

«Моих глупостей? Неужели я сейчас разговариваю с маленькой культурной европейкой?»

«Знаешь, Лейла, иди ты на хер».

«Нет, «Лейла, иди ты на хер», не прокатит. Я попросила тебя помочь мне, ты согласилась. И теперь я должна вести себя прилично и быть рафинированной, и чтобы волосы у меня были такими, как тебе нравится, и одежда такая, какая тебе не мешает, и чтобы разговаривали мы только о том, о чем ты пожелаешь разговаривать, и чтобы я тебе сказала, как нам было дивно на выпускном, и чтобы я по возможности забыла,

что у меня есть кишечник и мочевой пузырь…»

«И что все это должно значить?»

«Ты, Сара, как будто все забыла. Ты тотально слепа».

«Я не слепая, просто я взрослая».

«А, вот оно что? Скажи мне тогда, почему у меня складная Моторола».

«Откуда я знаю? При чем здесь сейчас…»

«Тебе смешно, — сказала она спокойно. — Ты считаешь, что люди в своей жизни могут все выбирать. Потому что ты провела всю жизнь, выбирая все. У меня этот сраный складной телефон, потому что это единственный телефон, который я смогла себе позволить. И работаю я сраной официанткой потому, что это единственная работа, которую мне удалось найти. Сейчас я здесь потому, что мне это показалось последним вариантом. Так что, если тебе неприятно, или ты скучаешь, или нервничаешь… я искренне извиняюсь. Но я не собираюсь притворяться перед тобой маленькой культурной европейкой только потому, что ты, похоже, забыла, кто я».

Она произнесла все это, не повышая голоса. Растянувшаяся на земле среди мертвой кукурузы, она была похожа на какого-то брошенного домашнего зверя, вышвырнутого из окна глухой

ночью. Я не знала, что сказать. Она всегда знала, как оставить меня без убедительных аргументов, даже когда нам обеим было ясно, что я права. Она умела произнести такую фразу, в которую я попадала, как в клетку, и оставляла меня в ней дергаться от моей крайне неуместной злобы. Она знала, что я не собиралась уезжать. Желание увидеть Армина виднелось на мне повсюду, она могла учуять его своими звериными ноздрями. «Я просто хочу доехать до Вены целой и невредимой», — сказала я и села на землю. Я сидела спиной к ней, посрамленная бессмысленностью своего бешенства.

«Ты хочешь доехать. А что со мной? Ты и меня повезешь? Или это поездка Сары? Сара едет в Вену. Живая и невредимая».

«Ох, Лейла, перестань говорить глупости. Ясное дело, мы едем обе. Я здесь из-за тебя».

Она молчала. Взяла мою злобу, стянула с нее все, до голой кожи, разделала на куски, перемоделировала и снова использовала против меня. Она была мастером выворачивать ситуации наизнанку. Для кого-то, кто мог заполнить часы бессмысленной болтовней, у нее было самое тяжелое молчание на свете. Оно лилось мне в уши, как отравленное море. Я снова легла на землю

и глубоко вдохнула запах мертвого поля.

«И что насчет Майи из четвертого бэ?» — спросила я ее через некоторое время только для того, чтобы продолжить разговор. Мне хотелось, чтобы мы выбрались из этой проклятой кукурузы и поехали дальше.

«Ну, Майя, знаешь… Та, про которую рассказывали, что она засовывает в себя кукурузу».

«А ты веришь придурку Деяну?» — ответила я раздраженно, как будто Деян виноват, что мы чуть не погибли.

«Я не верю ни Майе, ни Деяну».

«И что дальше? В чем суть?»

«Нет никакой сути, Сара. Ты и твои проклятые сути».

«Что все это значит?»

«Ничего».

«Нет, я серьезно. Что это я и мои проклятые сути?»

«Да все это. Тема, идея… Место действия. Не все же должно иметь суть. Будь взрослее», — сказала она мне.

«Я — взрослее? Да ты нас чуть не убила из-за того, что тебе захотелось попи́сать!»

«Не я чуть не убила нас… Видишь? Ты снова за свое».

«За что за свое?» — спросила я.

«Это твоя выдумка. Ты нас чуть не убила. Мы просто свернули с дороги. С нами ничего не случилось. Неужели тебе настолько скучно жить, что ты должна постоянно выдумывать какую-то драму?»

«Лейла, у меня лоб в крови».

«Я тоже в крови, уже три дня, но не жалуюсь».

Мне не хотелось дискутировать. Я закрыла глаза, помассировала виски и попыталась представить себе, что мы где-то в другом месте. Может, на том острове. До того, как все пошло к черту. Я чувствовала запах мертвой кукурузы и рассохшейся земли, на которой Лейла оставила след своей крови. Я представила себе маленький, высохший корень, как он оживает, один среди всей этой бесплодной земли, как упрямо старается и прорастает вопреки всему. Представила себе и ее кровь, как она проникает глубоко в сухую землю и воскрешает целое поле. Кукуруза снова становится золотой и стройной. Я вспомнила, что мы недалеко от пограничного пункта. Мы лежали, как две точки на географической карте, совсем рядом с красной линией. Было в этом что-то утешающее. Я хотела представить себе Армина, взрослого, с седыми волосами, как он

изумленно на меня смотрит после всех этих лет, как смеется, но не получилось. Я думала о Майе из четвертого бэ и о ее фотографии, которую я однажды видела в «Фейсбуке»: она в инвалидном кресле, в толстом джемпере с вышитыми цветами, и ее полный муж, он стоит за спиной и улыбается. По одному сыну с каждой стороны, третий на руках. Усталая Майя из четвертого бэ, гордо сфотографировавшаяся для своих пяти сотен виртуальных друзей.

«Хочешь, расскажу тебе одну историю?» — спросила вдруг Лейла.

«Только пусть она будет без сути, пожалуйста. Ведь мы же взрослые».

«Разумеется, без сути».

«А тема и идея? Место действия?»

«Тема: педофилия. Место действия: кабинет математики. Идеи нет. Идеи так же глупы, как и сути».

Я приподнялась на локтях и посмотрела на нее. Она лежала с закрытыми глазами, молния на джинсах у нее по-прежнему была расстегнута, ладонь замерла на голом животе. Время от времени доносился звук автомобиля, фары перелетали горизонт, а потом исчезали в темноте.

«Какая педофилия? О чем ты говоришь?»

«О преподавателе математики. Помнишь его? Тот, мой?»

«И что с ним?»

«Напал на меня… Вообще-то «напал» — глупое слово. Набросился».

«Что?»

«Что слышала».

«Когда?»

«Как-то раз, во втором классе средней школы. Дело в том… я пошла к нему, понимаешь? Я хотела, не знаю… Понятия не имею, чего я хотела. А он начал меня хватать, и весь… он был сам не свой, был как бешеный пес».

Голос ее был спокойным, как будто она объясняет мне простую математическую проблему и при этом потешается над моей неосведомленностью.

«И что было дальше?»

«Ничего, я оттолкнула его и вышла из кабинета».

«Не могу поверить. Значит, поэтому он и ушел, кобель», — сказала я.

«Думаю, ему было хуже, чем мне. Знаешь, он, бедный, скроил такую физиономию…»

«Лейла, ты должна была кому-то сказать. Это ужасно. Ты была несовершеннолетней».

«Кому сказать? Да ничего же и не произошло».

«Неважно, что произошло, суть в том…»

«Вот, пожалуйста, опять ты с этой ебаной сутью».

«Неужели ты не понимаешь, что это ужасно? Что нужно было об этом сказать?»

Она открыла глаза, глубоко вздохнула и села, чтобы меня лучше видеть.

«Сара, ты преувеличиваешь. Ему было меньше лет, чем тебе или мне сейчас». «Это совершенно неважно. Ты была несовершеннолетней, он был твоим учителем».

«Слушай, не воняй… Ты злишься только потому, что не знала».

Я встала и направилась в ту сторону, откуда были слышны автомобили. Я больше не могла ее переносить. Она была переполнена самой собой, она была всегда права и неуязвима в своем великом знании.

«Сара, подожди…»

«Не буду я ждать. Я хочу выбраться из этой ебаной страны как можно скорее».

Она догнала меня и схватила за руку.

«Подожди, мать твою…»

«Чего ждать-то? — спросила я. — Сначала ты нас чуть не убила, а теперь объясняешь, что это нормально, когда какой-то тридцатилетний

кретин лапает в своем кабинете несовершеннолетнюю?»

«Все не так просто, Сара. Некоторые люди просто…»

«Просто — что? Педофилы?»

«Одиноки. Некоторые люди просто одиноки».

Я презрительно улыбнулась и продолжила идти к шоссе. Скоро увидела нашу машину, она, не на асфальте, была белой и неуместной. Я поняла, что придется кого-нибудь останавливать и просить помощи. Вышла на шоссе, принялась махать. Несколько машин засигналило и объехало меня, видно, в темноте я казалась растрепанным троллем, который живет на кукурузном поле и время от времени выходит на шоссе пугать водителей.

«Что это ты делаешь?» — спросила она.

«А как ты думаешь, что я делаю? Кто-то же должен нас вытащить. Из-за того, что тебе захотелось попи́сать.

«Так никто не остановится. Скачешь тут, как псих».

Лейла вышла на шоссе и вытянула длинную загорелую руку с поднятым большим пальцем. После двух-трех машин остановился один «Пежо» и двинулся к нам, задним ходом.

«Сейчас еще окажется, что это какой-нибудь

маньяк. Кончим жизнь в чьем-то подвале и без почек. Потому что тебе захотелось пи́сать».

«Вот тебе наконец и хорошая история», — ответила она.

Из «Пежо» вышла пожилая женщина в джинсах и пестрой рубашке, с волосами особого фиолетового оттенка «прощай молодость». Лейла с улыбкой Лелы Берич и произношением дипломированного преподавателя сербского языка и литературы принялась объяснять ей ситуацию. Исключив кадры со своей рукой на руле.

«Вижу… Все вижу…» — сказала женщина, бросив взгляд на «Астру», махнула рукой и направилась обратно к своей машине. В этот момент я подумала, что она нас бросит и мы проведем ночь в кукурузе. Но она все-таки вернулась с буксировочным тросом в руках; в ее движениях угадывалось раздражение, как будто ей уже в который раз приходится вытаскивать из кукурузы заблудившихся девушек.

«Давайте, девчонки… — сказала она, протянула мне стальной крюк и пошла назад. Между мной и ею разматывался длинный черный трос. Подойдя к «Пежо», она обернулась и крикнула: — Засучили рукава и за дело! Мы не на дискотеке!»

[Я должна рассказать и эту историю. Засучить

рукава. Без нее все это не имело бы никакого смысла. Хотя ты презираешь смысл. Но в моем покрытом льдом озере осталось не так уж много воспоминаний. Какие-то трещины тут и там, скоро все превратится в мертвый хрусталь. Госпожа Кнежевич сможет изваять маленькую утку и добавить ее в свою горку рядом с остальными. Не переоценивай себя. Эти буквы не что иное, как мои усталые пальцы, они выжимают старую тряпку до последней капли. Еще немного — и я засохну, как кукурузное поле. Но до тех пор давай продолжим.

Одна трещина, посмотри. Остров, лето перед концом света. Теплое море и холодное пиво. Смотри, сейчас лучше видно. Там, где мы перестали быть ты и я. Там, где у тебя в последний раз были черные волосы. Давай расскажем и эту историю. Я не буду искать ее суть, обещаю. Спрячу ее где-нибудь в твоем ухе так, что никто не сможет найти. Неужели ты не заметила, что я не описала твои уши? Вот видишь. Не узнают, где искать.

Начнем, например, с пляжа. Пляж длинный, и на нем полно громких детей. Истеричные матери гоняются за ними по песку, вытаскивают ракушки из их ртов, неистово размазывают жирный крем для загара по их маленьким, гладким

спинам. Отцы лежат в холодке и смотрят на твою круглую задницу каждый раз, когда ты решаешь прогуляться до мелководья помочить ноги. Мы окончили первый курс и считаем себя самыми умными в мире. Мы уверены, что мы уже вполне зрелые, что ум — это десять баллов в зачетке и что, если надо, мы сможем процитировать Мильковича. Снисходительно над оправами темных очков поглядываем на озабоченных матерей. Отсюда, издалека, я вижу, насколько мы наивны, насколько не доросли до тех усталых, настоящих женщин. Вижу нашу гладкую кожу и крепкие груди, наши воспаленные головы с лишь недавно закончившимся формированием мозгов, помню нашу необъяснимую жажду чего-то, чего-то другого, что никогда не наступит. И нашу абсолютную уверенность, что мы никогда не станем такими, как они — обычные люди, — что наши волосы никогда не будут так неряшливо падать на обгоревшие плечи, как у этих толстых теток, что гоняются за своими орущими детьми по горячему песку. Сколько надменных заблуждений умещается лишь в одно мгновение на пляже. Но я не имею права ничего пропустить, хотя не помню почти ничего, кроме тебя и того утра. Я должна воссоздать в своей голове тот пляж,

описать песок, который пахнет так же, как и тот, с открытки, и солнце, круглое и сияющее, как отфотошопленное. Должна выдумать оливу и комаров и включить все свои органы чувств, верно, — и тогда история станет убедительной? Нужно описать, что пахло (морская соль, пот загорелых парней в дискотеке и твой шампунь, кокосовый), что мы пробовали на вкус (маслины, арбуз, водку, которая никогда не была достаточно холодной, чернику; ты попробовала на вкус и мой глаз в ту ночь, когда в него что-то попало), что мы слушали (птиц — найду где-нибудь справочник по орнитологии, дам имя каждой, если нужно, напишу умные фразы), на что мы смотрели (свои ноги, свои губы, свои ладони, только себя, все остальное было ниже нашей молодой самовлюбленности), к чему мы прикасались (ты — к моему глазу своим языком, я — к твоим волосам на поверхности моря, ищу твое лицо среди всей той черноты). Органы чувств, включить все органы чувств. Тогда история якобы будет живой. Как же ты презираешь все эти помпезные усилия, направленные на то, чтобы сделать что-то мертвое живым. А посмотри на меня — пробираюсь по тем же примитивным следам. Не надо сердиться. Кто-то должен рассказать и это, пусть даже я.

В каком-то журнале мы читали о людях, которые готовились к концу света. Говорили, что в 2000 году все просто исчезнет. Другие упоминали Армагеддон, величественный метеоритный дождь, который уничтожит весь человеческий род. Кто-то рассказывал про потоп: автомобили, крыши домов, скотина — все это будет плавать по поверхности мутной лужи. Мы читали о людях, которые, готовые встретить конец всего, раздали все, что имели, отреклись от своего дома, бросили свои ипотеки и договоры о ненормированном рабочем времени. Конец себя. Это было последнее лето, последняя возможность надеть красный купальник с завязками на шее и научиться прыгать в воду вниз головой до того, как мир перестанет существовать. Родители согласились на нашу шутку при условии, что весь месяц мы проведем, готовясь к нескольким экзаменам, которые не сдали в конце первого курса. Но что-то в нас наполовину верило в возможность конца всего. Что, если это последний раз, когда морская соль пощипывает нашу кожу? Меня не пугал конец света, его вероятность была слишком преувеличена, чтобы он произошел на самом деле. Меня пугал конец нас.

Но дай еще немного написать о тебе. Чтобы

у них слюнки потекли, это бы тебе понравилось. Я, такая обыкновенная рядом с тобой, ношу свой черный купальник, как будто это диплом об утраченной невинности, безуспешно разглаживаю свои непокорные вьющиеся волосы, копирую, тоже безуспешно, твою непринужденность и манеру, с которой ты ешь сочные дольки холодного арбуза. На твоей коже стыдливо собираются соленые капли, твоя улыбка кривовата ровно настолько, насколько надо, на плече отдыхает гладкий черный хвост волос, блестит от воды и солнца, как перья молодого ворона. Все утро жду, когда ты проснешься, тебе всегда было нужно больше сна, чем обычным людям, а потом мы мажемся оливковым маслом и идем к морю, уверенно и медленно, как только что снесшие яйца морские черепахи, направляющиеся к дому. Все смотрят на тебя, когда ты сбрасываешь летнее платье через голову, быстро, одним движением, как срывают пластырь, который действует на нервы. Все смотрят на тебя, когда ты расстилаешь свое оранжевое полотенце размером с чью-то гостиную, и без слов принимают твое право на самую большую территорию.

Все смотрят на тебя, когда ты заходишь в море, твой шаг не меняется, когда воздух превращается

в воду, ты продолжаешь в том же ритме, а вокруг тебя толпа смертников привыкает к температуре, делая недостойные, ускоренные движения, как игрушки, у которых скоро сядет батарейка. Все смотрят на тебя, а я смотрю на них, одновременно чувствуя и зависть, и гордость, и хочу им сказать «а теперь хватит».

В тебе нет ничего особенного. На пляже полно более длинных ног, более крупных грудей и остальных слишком высоко ценимых чудес человеческой симметрии. Но ты носишь в себе обещание иного мира, той особости о которой так тоскует вся эта толпа несчастных середнячков. Носишь в себе что-то *ихнее*, какую-то глупость, в которую они верят, которую сами себе рассказывают, чтобы оправдать факт своего существования. Ты носишь историю. Этого хотят все, разве не нет? Чтобы им кто-то дал тему, идею и место действия? Начало, конец, суть. Поэтому ты их и ненавидишь.

Что же на самом деле произошло на том острове? Я столько раз рассказала себе эту историю, я начала ее рассказывать в тот момент, когда увидела твои светлые волосы в амфитеатре на факультете и поняла, что мы больше никто и ничто. Я искала смысл в том, что произошло. А что

произошло? Вода, вся та вода, которая больше не часть пляжа, а часть моря и океана. Твои волосы, твой красный купальник, завязки сзади на шее.

Нет, погоди немного, не так быстро. Дойдем и до этого. Давай сначала напишу про несколько непринужденных морских дней, когда мы сидим на полу маленькой комнаты в отвратном отеле, фасад которого начал облезать еще во времена социализма. Мы добыли бутылку джина и черничный сок. Учимся скручивать джойнт. Я кашляю, ты смеешься, для нас это впервой. Единственный предмет роскоши в нашей маленькой комнате — громоздкий радиоприемник, вероятно, из тех времен, когда Тито приезжал сюда, чтобы перерезать красную ленточку и торжественно открыть отель. Среди нескольких свистящих каналов мы нашли только один со старогра́дской музыкой. Ты закрутила на голове тюрбан из полотенца и изображала Оливеру Маркович, как она поет «Та твоя губная гармошка, что этой ночью мне играет…» — а я от смеха складывалась в три погибели и из-за тебя, и из-за травки. «И сердце бьется тук-тук, и сердце стучит дум-дум…» — пела пьяная черноволосая Оливера без слуха, в почти таком же бессознательном состоянии, как и я. «И тебе я руки дам…» Она

протянула мне твои ладони.

«Упаду», — сказала я и снова взорвалась смехом. А ты меня все равно потянула к себе. Я не знала, как танцевать, положила руки тебе на плечи будто слепая. «А видно, что я накурилась?» — спросила ты. Я посмотрела тебе в глаза, они были черными, как всегда, я никогда не могла разобрать, где у тебя зрачки. Но я сказала. — «Да, видно», — потому что знала, что ты хочешь это услышать.

После Оливеры настал черед Милана Тимотича. Он сказал нам, что нас — тех, кто мечтает о счастье, — путь ведет в большой город. Мы ему поверили. Ты глубоко вздохнула, притянула меня к себе и продолжала танцевать. Шепнула: «Папа это иногда пел… И ты не первый, и не третий, кто о ней мечтает сейчас…» Ты не попала ни в одну ноту, но это было неважно, мне нравилось, что у тебя нет слуха.

В моей голове смешались алкоголь и марихуана. Я слышала какое-то другое время, в каком-то городе, где *«непрерывно бурлит повсюду жизнь»*, он вечно новый, твой отец все поет своим безукоризненным тенором, а наши бабушки носят платья пастельных тонов и танцуют на таких каблуках, которые бы нам вывихнули суставы.

Больше не было темноты, нас решительно обняла наивная беспечность, морская соль съела нашу память. Я почти поверила — там, в том номере отеля, полупьяная, полуобкуренная — в ту скудоумную историю про веселое время, где кружатся девушки в платьях в горошек, колосятся на ветру пшеничные поля и блестят звездочки на синих пилотках. Я знаю, что ты спросишь, если будешь читать это. Я не знаю, почему я это сделала, Лейла. Понятия не имею. Может, потому, что поверила, может, потому, что мне это показалось логичным, может, потому, что я представляла себе, что ты — это кто-то другой, кто-то, кто похож на тебя. Да это вообще-то и не было настоящим поцелуем, я едва коснулась твоих губ. Я хотела тебе что-то доказать, доказать, что я крутая, что могу целовать кого хочу. А ты расхохоталась, нежно меня оттолкнула и сказала: «В Боснии такое нельзя».

«Мы не в Боснии», — ответила я. Не потому, что хотела опять тебя поцеловать, а потому, что не хотела позволить тебе вести в танце. А ты посмотрела на меня как на ребенка и сказала: «Мы всегда в Боснии».

Не помню, сказали ли мы после этого еще что-то. Той же ночью мы целовались с местны-

ми парнями в небольшой дискотеке, где пахло пылью и потом. Я смотрела на других девчонок и тестировала свои желания. Поняла, что меня к ним не тянет. У меня не было желания целовать женщин, равно как и тех парней. Не хотела целовать и тебя. Я хотела добраться до чего-то, что было в тебе, извлечь из твоего рта сущность, как паразит. И ничего другого. Мы никогда об этом больше не говорили. Кроме того, то, что случится на острове в последнюю неделю, затмило весь алкоголь, марихуану и поцелуи, которые были раньше. Но пока — нет, подожди. Дай мне еще немного написать о нескольких сумбурных днях перед этим.

То утро, в кофейне на пляже — я вспомнила его только позже, когда начала искать какой-то смысл в твоей хаотичной истории, — мы пили ледяной кофе и грызли твердое печенье с корицей. В газетах писали, что какой-то маньяк за одну ночь зарезал женщину и двоих детей. Ты прочитала эту новость торжественным голосом, делая паузы на каждом абзаце, чтобы увидеть мою реакцию. Но я была слишком увлечена загорелыми молодыми островитянами, которые играли в волейбол на песке и чьи короткие шорты время от времени обнажали больше, чем следовало.

«Что бы ты сделала, прочитав в новостях, что я мертва?» — спросила ты меня и засосала через трубочку последние капли своего ледяного кофе так громко, что дама за соседним столиком обернулась и посмотрела на тебя с отвращением.

«Что ты хлюпаешь как деревенщина?» — спросила я, смеясь, что тебя, разумеется, заставило повторить трюк еще несколько раз максимально громко.

Когда на дне чашки не осталось ни капли сливок, ты облизнулась и сказала:

«Я тебя серьезно спрашиваю. Что бы ты делала, если бы я умерла?»

«Господи боже, что бы я… Мне было бы грустно».

«Грустно? Всего лишь грустно?»

«Я бы сошла с ума… Была бы истерика… Не знаю, что ты хочешь от меня услышать. Я вообще не хочу об этом думать».

«Проблема в том, что у тебя никто не умирал, — сказала ты. — Ты не готова».

«У меня умер дед».

«Это не считается. Ему было сто лет. И вообще вы с ним не были близки».

«Что ты хочешь этим сказать?»

«Ты не готова. Тебя на куски разорвет, когда

у тебя умрет кто-нибудь».

Ты поэтому сделала такое за несколько дней до того, как мы вернулись домой? А это смысл? Еще только несколько дней, Лейла, — и все было бы в порядке. История не разломилась бы пополам. Но теперь все кончено, это уже произошло, мне нечего больше писать, чтобы оттянуть тот момент.

Мы уплыли далеко от берега, пытались нырять с открытыми глазами. Бросались со скал глубоко в море. Ты безуспешно вертелась в воде, пытаясь сделать кувырок вперед. Я видела, как ты лезешь на отвесную скалу, готовая к следующему прыжку. Закрыв глаза, я нырнула, глубоко; мне было слышно, как ты врезаешься в воду недалеко от меня. Я хотела прикоснуться к дну и вернуться на поверхность. Не получилось, я испугалась и передумала на полпути, было слишком глубоко. Потом вынырнула и увидела твое неподвижное тело. Ты превратилась в тело. Ты лежала на поверхности воды как лист. Солнце било по твоей незащищенной спине. Лицо обращено к морскому дну, с потерянным взглядом. Руки раскинуты, будто кто-то из глубины моря направил на тебя пистолет.

«Лейла?»

Ничего. Никакой реакции.

«Ладно, хватит», — сказала я и толкнула тебя. Твое безжизненное тело отплыло от меня как кусок дерева. Твои волосы шевелились в воде как морские травы. Ты была мертва в тот момент, я видела твой труп.

Ты захлебнулась. Я схватила тебя за плечи и резко перевернула в воде на спину. В твоем лице не было ничего человеческого, никакой жизни, одна оболочка. Я начала плакать, выкрикивать твое имя и хлестать тебя по щекам. Несколько пловцов замерло вдали. Они смотрели на нас. Солнце было невыносимым. Я наносила тебе удары до тех пор, пока не поняла, что ты схватила меня за запястья и смеешься.

«Сара! Эй, Сара! Я же в шутку!»

Меня по-прежнему трясло. В моей памяти ты уже умерла, это уже произошло, хотя сейчас ты смотрела мне прямо в глаза, мои запястья по-прежнему были в твоих сильных руках, твои щеки — живые и покрасневшие от моих пощечин, твои ноги работают в воде и держат нас на поверхности. Вокруг нас образовалось широкое кольцо, теперь перепуганные люди отплывали подальше от моей истерической выходки.

«Какого хера?!» — взвизгнула я и вырвала свои

руки из твоих.

«Сара, успокойся…»

«Что с тобой?! Ты что, с ума сошла?!»

Мне хотелось тебя убить, там и тогда. Наказать за то, что мои глаза видели тебя мертвой.

«Сара, я жива, — проговорила ты сквозь смех, — посмотри, потрогай меня».

Ты развлекалась. Тебе было интересно тестировать людей на смерть.

«Ты ненормальная! Тебе это известно? Ты больная!»

«Сара, это уже слишком».

Я расплакалась, не смогла сдержаться. Я испугалась собственного страха. Я вдруг поняла, что все было шуткой, что и море, и твои волосы были просто реквизитом, чтобы доказать мне, насколько я легковерна, насколько не готова. Я ненавидела себя за то, что так слаба, что кто знает в который раз плачу перед тобой.

Тогда я это и сказала. Не знаю почему. Может, чтобы оправдать, что так глупо распустила нюни, придать всему некоторый вес. Вырвалось само.

«Я испугалась, Лейла… Сначала Армин, теперь ты».

Раскаялась я в тот же миг. Я увидела твое лицо, оно изменилось, как будто кто-то вдруг погасил

в тебе свет. Полное отсутствие хоть какого-то сожаления. Это лицо испугало меня больше, чем твоя поддельная смерть.

«Что ты имеешь в виду — сначала Армин?» — спросила ты меня медленно. А я молчала. Пряталась за свой плач. Если твой папа что-то услышит. Я вспомнила плакат с лицом Армина. Папка делает что может.

Ты ударила меня по лицу. Я посмотрела на тебя изумленно, мне показалось, что это произошло случайно.

«Прекрати распускать сопли и ответь мне. Что значит «сначала Армин»?» — повторила ты.

Я начала всхлипывать и глотать морскую воду, а ты, совершенно не растроганная моим спектаклем, снова влепила мне пощечину. Рот был полон соли, солнце било в темя. Ноги устали. Мне хотелось схватиться за что-нибудь, у меня не было сил держаться на поверхности. Я инстинктивно потянулась к твоему плечу. Ты с отвращением оттолкнула меня, будто я скользкий комок водорослей, и поплыла к берегу.]

10.

Тишина снова влезла в машину как неприятная автостопщица, пока мы неслись к Загребу. Я ожидала, что что-то особенное произойдет на границе: у нас будут проблемы с документами, что-то окажется не в порядке с автомобилем, у нас найдут полкило кокаина под сиденьем или что-нибудь в этом роде. В конце концов все оказалось совсем легко. Босния сперва попыталась задержать нас кукурузным полем, запутать белые волосы Лейлы в мертвых стеблях, проглотить нас под бесплодными растениями. А потом выплюнула через границу, просто так.

Все было иначе, когда я уезжала в первый раз. Тогда я была одна, с двумя большими чемоданами и двумя бумагами, которые хранила в кармане пальто так, как будто от них зависит моя жизнь: на одной я распечатала билет на самолет, а во второй было написано, что я принята в магистратуру по литературе в самом плохом из тех восьми ирландских университетов, в которые я подала документы. Эти две бумаги были для меня драгоценнее паспорта. Только с ними я смогу

избавиться от той, другой Сары, которая покидает Лейлину комнату, Сары, чьи ногти испачканы землей, в которой она похоронила Зеца.

Но на этот раз мы покинули ту мрачную страну вместе, плечом к плечу, без особой волокиты. Босния полностью потеряла смысл сейчас, когда я знала, что отбираю у нее Лейлу и что Армин где-то в другом месте. Она осталась без батарей. Когда смотрели наши документы, из паспорта Лейлы на мгновение блеснула фотография серьезной беловолосой женщины. Под толстыми пальцами полицейского я прочитала: «Лела Барун». Мы двинулись дальше без всякой драмы. Я не хотела смотреть в зеркало заднего вида, где исчезала моя страна. Я не хотела видеть ее сжатой в маленьком кусочке стекла, ограниченной пластиковой рамкой, с которой свисало обручальное кольцо Лелы Барун. Я хотела ее помнить большой и зеленой, омытой реками и живой, такой, чтобы изображение хотелось увеличить движением двух пальцев. Я хотела ее помнить такой, какой она никогда не была, по крайней мере по отношению к нам.

Это был последний раз, когда я видела Боснию.

Спускалась темнота. Настоящая, логичная, ожидаемая темнота, которая приходит, когда

небесные тела меняют свое положение. Я могла еще видеть немного солнца, как оно неохотно спускается за горизонт на краю обширной долины. Я видела соколов, худых и усталых, но по-прежнему гордых, по-прежнему смертоносных для голубей, зайцев и мелких грызунов. Видела автомобили, набитые семьями, которые надеются, что семь дней на море придадут им смысл — им, их матрасам для пляжа, кремам для загара и затхлым бракам. Я чувствовала облегчение, потому что мы наконец-то оказались вне той густой органической темноты. Но опять же, это было похоже на ту разновидность облегчения, которую чувствует героиня фильма ужасов, когда думает, что она в безопасности, хотя зритель-то умнее. Зритель всегда первым видит убийцу. Если та темнота, до которой я в Банялуке могла почти дотронуться, почувствовать ее волокна на языке, проникнет в кровеносную систему и распространится в легких, в печени, в мозгу, ты уже никогда больше не будешь чистой. Время от времени она появляется на поверхности кожи, делает ее более грубой и более холодной, мало-помалу ослабляет, до тех пор пока все повседневные удовольствия не начнут казаться тебе совершенно тривиальными, а то простое счастье,

на которое ты рассчитывала, не ускользнет из твоих грубых рук.

Лейла несколько раз пыталась начать разговор, но я только кивала, пожимала плечами или бормотала «угу». Перед глазами у меня по-прежнему стоял преподаватель математики, он бесил меня больше, чем то, что она нас чуть не убила. Я попыталась вспомнить его руки — как он пишет какие-то цифры на зеленой доске, как открывает дневник и вписывает туда оценки. Потом я те же самые руки переносила на Лейлино тело, которое только начинало наливаться теплом взросления где-то между ребенком и женщиной. Это было мучительно. Не потому, что я ревновала, и, признаюсь, не потому, что он был настолько старше ее, а потому, что этот кусок истории я получила из других рук. Мне нужна была другая Лейла, та, с черными волосами и нетронутым гименом, которую еще не начала подтачивать ирония; эту главу должна была рассказать мне она.

У меня не было настроения гулять по Загребу. Пока я искала, где припарковаться, Лейла отправилась купить нам еды. Вернулась она с двумя холодными сэндвичами, большой пачкой печенья «Медовое сердце», тремя сникерсами и двумя литрами кока-колы. А я купила нам одну

невыносимо жаркую ночь на верхнем этаже маленького хостела без кондиционера. Из тесной душной комнаты на Скалинской улице мы слышали колокола кафедрального собора и музыку из ближайших кафе. Ванная была общей на всех жильцов четвертого этажа. Лейла пошла в душ и, ожидая в очереди перед закрытой дверью, завязала разговор с каким-то типом из соседней комнаты. Я слышала, как он что-то поет и как она смеется тем самым дешевым хохотком Лелы Берич. Я не смогла удержаться — приоткрыла дверь ровно настолько, что их было слышно. Я хотела услышать все равно что, минимальный отрезок, который бы помог мне сконструировать эту новую Лейлу и понять, кем она стала за те двенадцать лет, что мы с ней не виделись и не слышали друг друга.

«Да это не так. — Я услышала ее смех. — Надо: «С маршалом Тито, геройским сыном…» и потом что-то, не знаю, может… не попадем мы в ад?»

«С маршалом Тито, толстенным сыном, все попадем мы в зад?» — предложил свой вариант собеседник, а она захохотала так, будто это было самое смешное, что она когда-нибудь слышала.

Я подошла к двери и осторожно посмотрела. Она стояла, прислонившись к стене, крутя

в пальцах прядь волос. Она прекрасно владела всеми пошлыми приемами общения. Лейла умела исполнять сложную кадриль, та была у нее в крови, а я никак не могла ей научиться. Два-три движения — и тот, кто рядом с ней, уже купился.

Она продолжала со своей кривоватой улыбкой: «Ой, как там было… Мы поднимаем… Что мы там поднимаем?»

«Мы поднимаем юбки…»

«Ха-ха-ха, да не юбки, какой же ты испорченный…» — сказала она и шлепнула его полотенцем по груди.

«Мы поднимаем ноги… чтоб замочить многих…» — продолжал этот идиот.

«И мы сожмем… — сказала Лейла, на что они вместе улыбнулись. — Что мы сожмем?» — спросила она, продолжая улыбаться и даря ему тупой и доверчивый взгляд наивной девочки.

«Все что угодно сожмем…» — ответил он и щелкнул ее пальцем по носу.

Он был не меньше чем на десять лет младше, но это, несомненно, не было важно. Лейла умела себя растопить и заново смоделировать в зависимости от формы, которую ей предлагали. У нее от рождения имелся сенсор для определения того, что в ней искали, и она могла в две секунды

превратиться именно в то, о чем тоскуют, в то, во что верят, надеясь, что это даст им полноту и правильно их истолкует, придаст какой-то смысл или хотя бы воплотит в жизнь какую-нибудь дешевую мечту продолжительностью в два порнографических кадра. Она была способна всю себя свести к минимуму.

Даже издалека, в узкую щель между дверью и стеной, мне было видно, что у него встал. Потом наконец из ванной вышла смуглая девушка и, улыбнувшись, пролепетала: «Извини, что тебе пришлось столько ждать». Тут же стало ясно, что это его девушка, — он повесил ей на плечо свою студенистую руку и увел в комнату рядом с нашей. Лейла, прежде чем войти в ванную, ему подмигнула.

В тот вечер из соседней комнаты доносились громкие, нарочито выразительные вздохи, какие обычно производят женщины, которые верят, что сами виноваты в плохом сексе и что дополнение в виде тайком выученных вскриков поможет исправить эту несправедливость.

«Бедняжка… Теперь она должна трахаться с этим несчастным, потому что ты его продинамила», — сказала я в темноте. Я знала, что Лейла не спит, она всё время вертелась в кровати из-за

жары.

«Опа… Сара заговорила. Я думала, ты будешь игнорировать меня до Вены».

«Сейчас я серьезно. А ты что, обязана флиртовать с каждым придурком, который тебе подвернется?»

«А ты что, обязана презирать каждого, кто не окончил литературный факультет, не написал книгу и не может цитировать Црнянского?[6]»

«Это вообще не так».

В соседней комнате любовник заорал: «Тебе хорошо?! Тебе хорошо?!» — на что мы с Лейлой рассмеялись.

«Это все из-за тебя, — сказала я, — он знает, что ты можешь его услышать».

«Оставь их… Пусть любятся».

«А что, если сегодня вечером они сделают ребенка? Из-за того, что у него встал? Это будет на твоей совести».

«У него встал не на меня, а на Тито».

«Ты злоупотребляешь нашим культурно-историческим наследием для возбуждения мужчин».

«Для этого в основном оно и используется».

Тип снова начал орать: «Хочешь еще?! Хочешь

---

[6] Сноски: 6

Милош Црнянский (1893–1977) — знаменитый сербский поэт, прозаик, драматург.

еще?!» Ответа мы не слышали.

«Может быть, я совершила доброе дело. Может, они сегодня вечером сделают умненькую девочку, — сказала Лейла. — Писательницу… Как ты».

«У тебя есть Дино. Ты можешь делать с ним маленьких писательниц», — сказала я.

Я заговорила о нем впервые с того момента, как мы покинули Мостар. Тип за стеной наконец-то кончил. В другом углу комнаты молчала Лейла. В темноте загребского хостела, который совершенно случайно оказался на нашем пути и который мы, вероятно, через несколько лет совершенно забудем, я чувствовала, что мы с тобой снова что-то или хотя бы часть чего-то, что существовало до того, как мы поехали на остров. Я хотела ее слушать о чем угодно, неважно, и в темноте представлять себе другие волосы и другие глаза, черные, как тогда, рядом с Ранко.

«Почему ты мне не рассказала про преподавателя математики?» — спросила я.

Она некоторое время молчала, а потом ответила: «Не знаю. Должно быть, не хотела, чтобы ты его возненавидела».

«Какая разница, ненавижу я его или нет? Я тебе все рассказывала».

«Не знаю… Понятия не имею. Не понимаю. —

А потом вдруг неизвестно с чего спросила: — У тебя муж есть?»

«Нет мужа, — ответила я. — Есть Майкл. И авокадо».

«Какие они, Майкл и авокадо?»

«Майкл большой. Рыжеволосый. Занимается программированием. А авокадо совершенно нелогично. Не знаю, честно говоря, как оно до сих пор живо».

«Ты никогда не любила домашние растения».

«Не любила. И сейчас не люблю», — ответила я и зевнула.

Через некоторое время я подумала, что она заснула. Хостел погрузился в зловещую тишину. Слышны были только колокола кафедрального собора. Я поняла, что, если все пойдет как надо, завтра я увижу Армина. Мне было страшно выговорить при ней его имя, я по-прежнему чувствовала, что у меня нет на это права. Где-то во мне таился тот стыд двенадцатилетней девочки, которой старший по возрасту мальчик развязал волосы. Я выдам себя, если упомяну его перед ней. Я попыталась придумать, что ему скажу, о чем его спрошу, но все звучало банально. Сядем ли мы где-нибудь выпить кофе? А может быть, он придет с женой и детьми? Как я примирю в себе

ту мутную фотографию шестнадцатилетнего бога с обычным человеком, который заказывает двойной с молоком или вытирает слюни какому-то малышу? На миг мне захотелось, чтобы поездка никогда не кончилась, чтобы всегда был какой-нибудь хостел в каком-нибудь городе, где угодно и когда угодно, в котором будут лежать какие-то другие Лейла и Сара и разговаривать о преподавателях, о растениях, о чем попало, медленно приближаясь к тому мальчику, который стоит под черешней. Возможно, в тот момент я и поняла печальную правду: мне не нужен Майкл. Мне было совсем хорошо, там, кровати, где я уже обливалась потом от нехватки воздуха. Ты никогда не любила домашние растения. Я не должна была ей ничего объяснять, она словно через очень сильную лупу могла разглядеть мои мельчайшие переживания. Частички темноты в крови заполнили все мое тело, настолько, что мне пришлось к ним привыкнуть, принять их как нечто по сути мое, нечто, для чего у Майкла и всех других Майклов этого мира никогда не будет исправных сенсоров, и это их сначала заинтригует, а позже просто утомит. Лишь иногда, вплотную приблизившись к границам моего существа, они почуют нелогичную печаль, темноту, которая

отшелушивается с поверхности моей кожи, и не будут знать, как ее истолковать; несмотря на благонамеренность попыток, это их рассердит, потому что окажется, что ни один из них — не тот правильный, кто меня поправит. Они будут читать меня слева направо, с горой словарей, делая из меня книгу в твердом переплете, а потом придет Лейла, вырвет из нее страницы и наделает из них маленьких бумажных голубей. Потому что только она знает, что темнота не поддается истолкованию, что у нее нет темы и идеи. Только она знает, как освободить меня от переплета.

«Эй, знаешь…» — услышала я вдруг ее голос из другого угла комнаты.

«Что?»

«Это про детей», — сказала она.

«Что про детей?»

«Я не могу, понимаешь? У меня там, внизу, не все в порядке… с сантехникой».

Я повернулась на кровати в ее сторону, хотя и не могла разглядеть ее в темноте.

«Ты на сто процентов уверена?»

«На сто тысяч процентов».

«А ты бы хотела? Иметь детей?»

«Не знаю, если честно, — сказала она. — Я бы хотела иметь выбор. Может быть. Понятия не

имею».

«Надо же, мать твою… мне жаль», — шепнула я как-то глупо.

Я не знала, что сказать. Слова мои опять оказались бессильными, неэффективными. Лейла их делала такими — одним движением срывала роскошные одеяния с их хилых тел. Мы опять замолчали, а потом, через несколько минут, я услышала спокойное, равномерное дыхание. Она заснула, как всегда, раньше меня.

Я подумала: как же так, две женщины в маленькой комнате без кондиционера, с теплой кока-колой на столике, звуки кафедрального собора, которые с короткими промежутками доносятся в скрипящее окно, — и больше ничего. Никто нас не продолжит, когда мы однажды умрем. Но в этом не было ничего грустного, по крайней мере для меня. Той ночью это стало мне утешением: две женщины, которые зачеркнули для себя Боснию и бежали с места преступления и которые однажды просто исчезнут. За нами не будет виться никакая неконтролируемая линия потомства, мы не дадим миру никаких людей искусства, никаких потаскух и писательниц, никаких героев и злодеев. Мы не оставим чужих имен каким-то детям, которых будут называть

нашими, детям, которые состарятся в каком-то другом времени, превратятся в людей, с которыми мы никогда не будем знакомы. Никто никогда не будет мы. Это только мы, две.

[«Это вы», — сказала учительница с улыбкой и показала на пробковую доску, заполненную бумажными людьми. Наш первый день в школе. Последнее воспоминание, потому что первое. Оно все дальше, уменьшается, как дежурный по платформе. Не помню почти ничего, поэтому больше половины придется выдумать. Но ничего, ты вспомнишь то, что важно. Я должна прежде всего намечтать поддельные леса вокруг хрупких воспоминаний, чтобы сохранить их. Не обращай внимания на пустое изложение событий. Вспомни бумажных людей. Нам сказали, что для первого школьного дня нужно сделать и принести бумажные фигурки, которые изображают нас. Мама купила несколько видов блестящей бумаги, разноцветные фломастеры, наклейки и пестрые печати. Мы сидели за столом на кухне весь вечер и пытались сделать меня. Задание было ясное: каждый ребенок должен сам сделать свою фигуру. Маму это фрустрировало. Раскрашивая, я вылезала за линию, отрезала половину ступни, использовала слишком темную бумагу

для волос.

«Все сначала, — сказала она. — Возьми этот… И будь внимательна с ножницами, а то опять все испортишь».

Я вырезала маленьких людей, юбки которых были частью их тела, и красила их цветами для девочек. Марала их дрожащие конечности блестящим порошком. Смотрела на мамино лицо, чтобы увидеть, хорошо ли у меня получилось. Она меня узнает в этой бумаге, она знает, как меня сделать, — однажды уже с этим справилась. Я хочу длинные зеленые волосы до пят, и платье из листьев, и желтые глаза. Но мама говорит, что так нельзя, разве я хочу, чтобы другие дети надо мной смеялись? Берет ножницы и вырезает мою фигуру, хотя ей известно, что нельзя. Но она мама, она лучше знает. Я плохо справляюсь с ножницами.

«Вот», — говорит она мне и протягивает девочку из розовой бумаги. Волосы ее красивее моих, гладкие и украшены маленькой звездой. В руке держит цветок, хотя на прошлой неделе я, играя в гостиной в «резиночку», сломала наш фикус. Мама тогда сказала, что люди, которые не умеют заботиться о растениях, не смогут позаботиться и о людях. Но маленькая бумажная я умела

заботиться о растениях, она держала в руке безукоризненный цветок размером с ее голову. Одета она была в розовое платьице, которого у меня не было, и смеялась красными губами, хотя мама запрещала мне трогать ее косметику.

Перед школой в ряд стоят дети со своими матерями. Скоро нас вызовут, мы отпустим их руки и войдем в здание все вместе, но все же совершенно одни. Каждый сам по себе, вдруг став частью какой-то группы, частью чего-то большего, чем семейный стол.

На твоей матери — красное платье с широкой юбкой и босоножки на пробке. Я не знала, что люди могут быть такими красивыми. Красивым было и то, как она по-особому прикасается к часам на руке, чтобы посмотреть время, и то, как гладит твои волосы, такие же черные, как и у нее, смеется каким-то твоим словам — ты, такая же маленькая, как я, смогла ее рассмешить. Тебя не вижу, ты повернулась ко мне спиной, ты еще не существуешь. Одновременно мною владели два одинаково сильных чувства: желание, чтобы это была моя мать, с красивыми ногами, с прямой спиной, с широкой белой улыбкой, и чувство вины, потому что та, которую я так страстно желаю заменить, стоит рядом со мной. Позже ты

меня уверяла, что у твоей мамы никогда не было красного платья, что я перепутала ее с кем-то другим, но я была уверена в своем воспоминании, держалась за него как за лотерейный билет, хотя выигрыш был мизерным. Кроме того, что ты знаешь о воспоминаниях? Швыряешь их за спину как использованные тампоны.

Это я тоже расскажу, как и все. Школа, хмурый день, чувство вины вползло в тесное пространство между маминой и моей ладонью. Нас начинают вызывать, и тут же возникает хаос. Один мальчик плачет, схватившись обеими руками за плащ своей мамы. Другие дети смотрят на него как на дирижера и, получив знак, играющий роль спускового крючка, разом начинают плакать в том же ритме — одни рыдают, другие тихо всхлипывают, растерянные матери пристыженно поглядывают на других женщин, делая вид, что такого не ждали. Ничего подобного с моим никогда не было, это все по вашей вине. И тут я увидела тебя. Тогда ты начала существовать. Настоящая ты, без имени.

Ты — единственный ребенок, который не плачет. Я-то на грани, подбородок уже трясется, но не потому, что я боюсь покинуть маму и войти в школу, а потому, что мне кажется, именно сей-

час, в этот момент, это и нужно сделать, плач — это первая коллективная акция моей группы. Но я не могу плакать, пока ты на меня смотришь. А ты словно знаешь, что со мной происходит, не сводишь с меня глаз. Вокруг нас избалованные плаксы демонстрируют своим ором все возможности полного спектра звукоподражания. Учительницы приходят за детьми, неловко берут их на руки и вносят в школу, как мебель. Мама мною гордится: все женщины видели, что ее ребенок не плачет — ребенок начальника полиции. Я держу в руке розовую Сару из бумаги. Вхожу в школу высокомерно, будто освободила город от варваров, но вместе с тем чувствую, что этот геройский титул получила нечестно — они не знают, что на самом деле я плачу из-за всего. С тобой я еще не познакомилась, а уже чувствую, что ты сделала из меня что-то другое, какую-то лучшую версию меня. Мне придется играть роль девочки, которая не плачет, до тех пор, пока есть ты и эта школа.

Устало улыбающиеся матери остаются снаружи, одновременно и грустные, и взволнованные, как толпа глупых девушек после эмоционального концерта. Весь их смысл теперь там, внутри этого здания, и это им обеспечивает общий

знаменатель. Они остались без детей, и теперь приходится разговаривать друг с другом вот такими — незащищенными. А мы внутри, каждая со своим кусочком бумаги, готовы в той или иной степени принять новый авторитет и все нормы, которые из этого проистекают. Это то, что нам известно.

Хорошо ли я помню? Я должна исхитриться, чтобы изложить фабулу, но речь идет о возрасте, еще не имеющем тех слов, из которых можно соткать воспоминания; в памяти осталось только то, что тогда было необычайным: маленький стол, изрезанный бороздками и отполированный сотнями ладоней до нашего появления, неприятный запах от детей, которые не почистили зубы, скрип мела по зеленой доске, луч, скользящий по картинкам из букваря, сладкий вкус клейкого рогалика во время большой перемены. Потом ты мне скажешь, что я все выдумала, что все было не так, что интересно, в какую это я школу ходила, она ничуть не похожа на твою. А мне мои выдумки ближе и яснее всей школьной документации, бледных коллективных фотографий класса и твоей хирургически точной памяти.

Но некоторые картины остаются, некоторые просты и непритязательны именно потому, что

я их не выдумала. Два мальчика сидят между тобой и мной и разговаривают о своих пиписьках. Мы переглядываемся, понимаем, что что-то не так, но точно не знаем, что именно. Учительница далеко от нас, стоит повернувшись к доске. То, о чем говорят эти мальчишки, — у нас такого нет, это что-то другое, только *ихнее*. В этом различии кроются все виды стыда и страхов нашего мира. Мы слишком рано получим ответы, сморщенные, маленькие ответы на вопросы, о которых мы и не знали, что носим их в себе. Мальчишки расстегивали штаны и показывали друг другу пиписьки так, как сравнивают пеналы. Я посмотрела на тебя — ты повернула голову к ним и смотрела на их маленькие члены, не уверенная в том, известно ли тебе их назначение, смотрела с некоторой жалостью из-за того, что их тела так неприятно деформированы. Потом это увидела и я, но только после того, как долго разглядывала их отражение в твоих глазах. Два уродливых гриба в середине каждого мальчика.

Не помню, как и когда закончился этот ужасный спектакль. С того дня мы сидели рядом, притянутые друг к другу не только страхом, вызванным их телами, но и чувством соучастия в нашем различии. Нас сдружила смущающая

смесь гадливости и изумления. Мы были ты и я.

Не помню я и когда ты мне в первый раз назвала свое имя. Иногда мне кажется, что оно существовало всегда, что я его знала с первого момента, хотя мне совершенно ясно, что такое невозможно. То, что я помню, — это бумажная кукла, которую ты принесла в школу, твоя Лейла. Она была белая, вырезанная из плотной бумаги для акварели. Ты не нарисовала ей ни глаза, ни губы, ни нос. Ты не стала уничтожать часть ее тела, замаскировав ее широкой юбкой; ты не добавила ей ни одной детали. Учительница собрала наших бумажных людей и стала пришпиливать их к большой пробковой доске, которая висела на стене рядом с картой мира. Маленькими булавками она пробила нам головы. Ноги и руки у нас скрутились, потом они будут трепетать всякий раз, когда кто-нибудь открывает дверь класса.

Когда она увидела твою фигурку, то спросила, почему ты ее не раскрасила. Я не помню почти ни одной детали из нашего класса, не помню ни лиц детей, ни учебников, но помню, что ты ей ответила. Твой язык всегда действовал на меня как механическая игла, которая наносит музыкальную запись на винил.

«Это кожа», — сказала ты.

Некоторые дети гадко заулыбались, скрывая зависть. Твоя бумажная кукла была не такая, как все. Учительница тебя первой запомнила.

«А что с одеждой?» — спросила она.

«Ну, я не ношу каждый день одну и ту же одежду», — ответила ты.

Это все, что я помню. Она не хотела настаивать, твой отец недавно умер, она будет с тобой мягкой сорок дней — таков обычай. А моя пестрая кукла, посыпанная блестками и с цветком в руке, вдруг стала глупой и какой-то чрезмерной. Мне было стыдно перед твоей простой истиной. Тогда я впервые подумала, что, возможно, существует кто-то, кто знает больше, чем моя мать. Мне было стыдно так думать, мне захотелось ее защитить — такую бедную, с сумкой, полной цветной бумаги и пестрых наклеек, — от твоей брутальной точности. Может быть, тогда я и разделилась на две половины: на ту себя, которая принимает твою истину, которая осознает ложь на классной доске, и себя другую, которая после школы идет домой и осуществляет мамину мечту о девочке в розовом платьице. А может, все зашло еще дальше — может, я уже тогда придумала другую себя для целого пестрого мира, такую, какую не решалась тебе показать, боясь, что ты

обнаружишь мое притворство. Поэтому мне было так легко уехать, переменить язык, по-другому выговаривать собственное имя, делать вид, что где-то далеко, в черном сердце Европы, не существуешь ты.

В течение того первого года знакомства мы поделились друг с другом не многим. Ты мне сказала, что у тебя нет папы, я тебе сказала, что у меня нет брата. В моем детском мозгу смерть и нерождение были одним и тем же — полным отсутствием. Но это было неважно, ты приняла меня так, как будто я была тебе предназначена. Как будто эта история существовала до нас. После того как мы вместе стали свидетелями тех распоясавшихся мальчишек, мы были неразлучны. Мы не сделали ничего плохого, но мы знали, что в этом кроется нечто стыдное, нечто, что может быть использовано против нас. Не было необходимости искать иную причину того, что мы держимся вместе. Ты скажешь мне, что у тебя есть старший брат. Позовешь меня на свой седьмой день рождения. Обычная бюрократия первой дружбы. А чем мы тогда были, к чему сводилось то Лейла и я? Немного мяса и человечности. Я не могу приукрашивать те дни, не могу возвеличивать их как особо значительные. Ты бы меня,

разумеется, из-за этого запрезирала. Впрочем, не знаю и как обрисовать двух этих соплячек: ты в моей памяти постоянно уменьшаешься и растешь, как мираж суши в глазах отчаявшихся моряков. Я вставляю немного воспоминаний о том, что у меня есть ты, которая старше меня, та, которую лапал преподаватель математики, та, которая на расстоянии вытянутой руки от меня потеряла невинность на речном берегу. Вот так эта взрослая, разочарованная Лейла уродует мне наивные воспоминания о беззаботной детской дружбе. Я хотела вернуться и все объяснить, но мне кажется, что я намного отдалилась и мне ничего не удалось. Более того, я только потерялась.

Не знаю, Лейла. А должна знать. Ведь ты этого хочешь, разве нет? Всезнающую рассказчицу. Возможно, ты все время была права, может быть, под поверхностью жизни не существует никаких смыслов, никаких скрытых образцов. Я хотела шагать назад, чтобы соединить пункты по порядку, один, два, три, как на тех рисунках, которые ты любила, когда мы были детьми. А ты этого на самом деле никогда и не хотела — тех моих объяснений, моего насильно привнесенного смысла. Мне нужно было только перелистать рисунки, правда? Вставить тебя в историю, тебя — обыч-

ную мостарскую официантку, в которой нет ничего особенного, женщину, после которой не останется ничего кроме, может быть, костей зайца и тампона, брошенного в ночь. Только дураки, такие как я, могут вставить тебя в книгу. Но, видишь ли, во всех историях существует нечто неминуемое — рано или поздно они подходят к концу. А как ты хорошо знаешь, после нашего конца нет ничего. Помнишь тот день на острове, когда ты сказала мне, что я не готова к смерти? Ты — та, кто не готов. А каждое новое слово тянет нас к концу истории.

Знаю я этот твой страх, я узнала его в самом начале, хотя никогда тебе этого не сказала. В тот день, когда мы вошли в класс, а на доске не было твоей фигурки. Весь пестрый коллаж, и блестки, и наклейки — все на месте, а твоей обычной белой Лейлы нет даже на горизонте. Ты думала, я не заметила, да? Делала вид, что тебе все равно, что это ерунда. Там, где когда-то висела маленькая бумажная ты, теперь на пробке осталось только пустое место. Пустота прокралась с доски и влезла тебе куда-то в грудную клетку. Все я видела, ничего от меня не укрылось: как ты старалась, чтобы я не заметила твой страх, ужас кого-то, кто только что стал свидетелем собственного отсут-

ствия. Должно быть, твою куклу сорвал кто-то из завистливых ребятишек. Они даже не потрудились перед этим вытащить булавку: разорвали твой лоб, смяли тебя и бросили в мусорную корзину, туда, к остаткам зачерствевших булочек и засохшей яблочной кожуре. Может быть, из-за той первой пятерки по математике. Может быть, потому, что твоя простота напоминала им об их преувеличенности. Впрочем, важно ли это? Кто-то тебя украл, пока ты не видела.]

11.

Я мчалась по Словении уже полчаса и вдруг поняла, что Босния давно осталась у нас за спиной. Возможно, потому, что я по-прежнему чувствовала ее присутствие, будто мы проехали через дым древесного угля и гарь. Это что-то, присущее ей, маленькие крошки земли, частички темноты, которые мы носили под кожей. Мы всегда в Боснии. Сейчас мы стали разносить ее по Европе. Наша страна с ее неустоявшимися границами в сущности безгранична. Напрасно мы ссорились, преследовали друг друга и убивали: мы никогда в ней и не были, это она проникла в нас наподобие фантомного зуда. Наша кожа кровоточит из-за бессмысленного расчесывания.

Как-то раз мы с Майклом смотрели фантастический сериал, в котором одного мальчика похищают инопланетные существа и потом затаскивают его в мир темноты и отчаяния. Под конец мальчика все-таки спасают, он возвращается домой, к своей отчаявшейся матери. Между тем в последнем эпизоде мальчик идет в ванную вымыть руки, его внезапно тошнит и начинает

рвать в умывальник остатками тех самых тварей, которые его похитили. Ему уже не отмыться. Когда я смотрела на большой экран телевизора Майкла и видела того перепуганного мальчика, я подумала, что это чувство мне хорошо знакомо. Но ничего не сказала. Все равно Майкл бы не понял.

Мы остановились на бензоколонке заправиться и сходить в туалет. Когда я вернулась к машине, увидела мальчишку, цыгана: он мыл нам лобовое стекло. «Не нужно». — Я попыталась его остановить, но безуспешно. Он протирал поверхность быстрыми движениями опытного художника, перебрасывая губку и бутылочку с омывателем из одной руки в другую. Я поняла, что его ничем не остановить, и потому села в машину и стала ждать Лейлу. Вскоре она появилась с большим пакетом чипсов и плиткой шоколада.

«Эксплуатируешь детский труд», — сказала она, усевшись.

«Я ему сказала прекратить, но не подействовало».

Покончив с лобовым стеклом, мальчишка, невзирая на мое негодование, тут же перешел к боковым окнам. Мне стало неловко. Я хотела быть зрелой, образованной, социально ответ-

ственной особой, которая не одобряет и не поддерживает на практике капиталистическую тиранию. Но цыганенок казался таким счастливым из-за того, что кто-то наконец позволил ему поработать, что у меня не хватило бессердечности обидеть его своей надменностью, своей белой справедливостью. Под конец я открыла окно и положила на его грубую ладонь несколько евро. Перед тем как уйти, он встал перед машиной и с торжественным выражением лица глубоко нам поклонился.

«Как будто мы король и королева…»

«Я — королева», — тут же добавила Лейла.

«Везет нам», — ответила я и повернула ключ. Мне было стыдно из-за безукоризненной чистоты стекла, через которое я смотрела.

Когда Словения превратилась в Австрию? Не знаю, кажется, наша орбита в том мае расширялась и изгибалась по собственным законам, далеким от картографии. Как будто мы прижали стекло к чужой карте и можем разглядеть и топонимы, и государства, и границы, но для нас обеих сверху существует лишь скользкая и однообразная поверхность. Где-то на краю этого стекла виднелся Армин и его черное пальто, хотя он из него, конечно, вырос. Я надеялась, что Лейла

его упомянет сейчас, когда мы уже в Австрии, но она продолжала поедать чипсы и напевать какую-то примитивную мелодию, словно мы едем на школьную экскурсию. Я тогда решила истолковать это как защитный механизм. У меня не было права выговорить его имя первой, я должна была ждать, что это сделает она. Всякий раз, когда мне хотелось произнести его при ней, я снова чувствовала ногами ледяное Адриатическое море и пощечину, горящую на моем лице. Поэтому я говорила о другом: погоде, еде, бывших одноклассниках, чьих историй мы не знали. Она сказала, что теннисную ракетку ей подарил Дино, на что я расхохоталась. Лейла, по крайней мере та, которую я раньше знала, могла быстрее всех решить шахматную задачу или математическую головоломку, но со спортом общего языка не находила. Как-то раз учитель физкультуры выгнал ее из зала, потому что по ее вине пришлось прервать баскетбольный матч — в разгар игры она захотела прочитать, что написано на мяче. Такой особе спортивное снаряжение дарят, или если совершенно ее не знают, или чтобы безжалостно поиздеваться.

«Ты и теннисная ракетка… Бедный Дино», — прокомментировала я.

«А ты и авокадо, похоже, тоже хорошая пара?»

«Ну нет. Но, Лейла, будем реалистами. Теннисная ракетка. Ты ею хоть один раз воспользовалась?»

«Да. Дино был моим тренером. Так мы и познакомились».

«Тренер? По теннису? Ты ходила заниматься теннисом?»

«В общей сложности целый месяц. Потом больше не могла. Вся эта беготня за мячиком, будто я собака… — сказала она, глядя в окно на прозрачную кожу Австрии. — Он, бедняга, по-прежнему верит, что я вернусь».

Я не знала, говорит ли она о теннисе или о своем браке вообще, но Лейла прервала меня прежде, чем я набралась храбрости уточнить.

«Что это там?» — Она показывала пальцем на какую-то воду, которая виднелась среди отглаженной зелени.

«Понятия не имею. Какое-то озеро, наверное…»

«Едем туда!»

«Да ладно… До Вены осталось совсем немного…»

«Но я хочу увидеть озеро», — сказала она спокойно, как будто это несомненный научный факт, против которого у меня нет никакого аргумента.

Я вспомнила, как она чуть не убила нас в кукурузе, и решила, что проще сделать паузу в полчаса, чтобы она посмотрела на эту дурацкую воду, чем снова пойти на риск аварии.

Озеро было искусственным, так же как и парковка, так же как и трава, так же как и ногти нашей официантки, когда та принесла нам кофе и вежливо попросила Лейлу спустить ноги со стула. Казалось, по поверхности воды кто-то натянул прозрачную пленку, чтобы случайный камешек не поцарапал весь вид, как мог бы поцарапать фотографию. Каждая травинка была пострижена на ту же длину, что остальные, как будто за ней ухаживает салон депиляции, а не садовые рабочие. И зеленый цвет, совсем не такой, как наш, везде был одного тона, куда бы я ни бросила взгляд: деревья, кусты, газон… это напоминало иконку «Майкрософт», по которой щелкаешь, чтобы заполнить пространство каким-то нюансом. Даже птицы, которых я не видела, так приятно щебетали в своей отточенной гармонии, производя, как по часам, безукоризненно точные терции и квинты, что я подумала, что на самом деле мы слушаем какой-то диск, а не настоящие клювы. Я вспомнила, как некогда ценила такое: улицы без мусора, подстриженную траву во дво-

рах, чистые скамейки, всеобъемлющий порядок иностранного мира. Сейчас он действовал мне на нервы. Не потому, что Босния в своей тотальной неряшливости и лени лучше. Я никогда не была солидарна с теми, кто восхваляет собственные проявления безразличия как доказательство, что у нас, тех, кто отсюда, больше сердечности, чем у них, там; что здесь, у нас, якобы искренние и простые души из-за того, что мы бросаем мусор на тротуары и орем на детей. Такие идеи мне всегда казались смешными. Однако в тот момент с Лейлой, которая разочарованно смотрела на абсолютно квадратное озеро, а потом, прочитав, сколько мы должны заплатить за два кофе, громко сказала: «Ни хера себе!» — Австрия действовала мне на нервы. По сравнению с ее великолепной травой я казалась самой себе неправильной, грубо сложенной, небрежно тонированной, мои мысли были раскрашены так, что цвет вылезал за края. Тогда я поняла, почему мне не нравятся пейзажи фабричного производства: они заставляют воспринимать мою человеческую природу как ошибку, как мой глубоко личный промах. Внезапно у меня возникло сильное желание пописать в это озеро. И я объяснила себе его присутствием Лейлы: если бы ее не было там, рядом со мной,

вероятно, я бы очень аккуратно сыграла роль цивилизованной жительницы Европы, более того, насладилась бы этим. Но она мне всегда напоминала о чем-то сущностном во мне, о каком-то центре, который вовсе не является точкой пересечения диагоналей прямоугольника. Напоминала, что беспорядок — это естественное состояние нашего мира, что наши жизни, организованные вокруг усилий привнести в порядок весь этот хаос, по сути дела, не что иное, как свидетельство непомерной гордыни.

Лейла подняла лицо к солнцу и закрыла глаза. На ее макушке пробивалась тонкая прядь, ослепительно черная по сравнению с австрийской светловолосостью. Как будто щепотка той темноты проникла в волосы, перед тем как мы покинули Банялуку. Я была глупо счастлива, потому что засвидетельствовала истинный цвет ее волос, словно доказав этим, что в той безмолвной перепалке, которую мы вели еще от Мостара, я все время была права. Эта прядь говорила мне, что я не все выдумала, что где-то внутри этой женщины скрывалась настоящая Лейла, которая рано или поздно выберется на поверхность. Перед нами на безукоризненном газоне играли две девочки, они кружились и падали на землю с ис-

кренними подростковыми приступами смеха. У той, что повыше, была совершенно белая кожа и такие светлые волосы, что казалось, они могут исчезнуть, если она еще немного приблизится к солнечной стороне двора. Девочка была одета в шорты на лямках и майку, которая по сравнению с цветом ее волос казалась скорее желтой, чем белой. У другой был толстый рыжий пучок, и, когда девочка кружилась на месте, раскинув в стороны руки и закрыв глаза, ее зеленое платье из тюля кружилось вместе с ней, как нежный пропеллер, готовый поднять ее высоко над озером. Их матери сидели через два столика от нас и что-то ворковали на безупречном немецком, не спуская глаз с газона. Время от времени одна из девочек опасно приближалась к берегу озера, увлеченная своим танцем, как дельфийская жрица, пока ее земная мать не начинала кричать ей что-то на немецком, разрушая магию. Фраза натягивалась между мамой и дочкой, как поводок, и тащила расшалившуюся девочку подальше от воды.

«Я тебе не говорила, чтобы ты валила к ебеной матери», — сказала Лейла ни с того ни с сего, по-прежнему с закрытыми глазами.

«О чем ты?» — спросила я, глядя на девочек, завидуя их естественной беспечности и тому, что

они могут валяться на траве и никто не подумает, что они ненормальные.

«Тогда, когда мы виделись в последний раз, когда мы похоронили Зекана».

«Ты открыла мне дверь и сказала, чтобы я валила к ебеной матери, — ответила я. — Я это прекрасно помню».

Она вытаращила на меня глаза и выпрямилась на стуле.

«Как ты любишь выдумывать, свет такого не видывал…»

«Я ничего не выдумываю», — сказала я спокойно. В тот момент я вспомнила телепередачу, в которой полицейские рассказывали, что прошли курс обучения разговору с психопатами. Ни в коем случае не нервничать и не терять спокойствия — это признак слабости.

«Сара, ты шутишь, правда?»

«Боже мой, Лейла, какое теперь это имеет значение. Это было сто лет назад. И я больше не сержусь».

«Нет, вы только ее послушайте: «больше не сержусь». Сначала все сама выдумывает, а потом еще и хвалится, что не сердится».

«Я действительно не могу сейчас об этом говорить».

Одна из девочек, та, светлая, перестала кружиться. Что-то отвлекло ее внимание, что-то в воздухе. Она стояла на траве и смотрела прямо перед собой без всякого выражения, а ее рыжеволосая подружка продолжала кружиться с закрытыми глазами.

«Послушай меня, — сказала Лейла, решившая придерживаться темы. — Я тебя спросила: «Куда ты сейчас?»

«Лейла, это неважно, правда…»

Что-то в воздухе, та девочка с бледной кожей что-то видит. Как будто смотрит на невидимую бабочку. Следит за ее бессмысленным танцем.

«А ты мне сказала, цитирую, валю к ебеной матери. И тогда я открыла дверь, а ты вышла. Тут и сказке конец».

«Лейла, девочка…»

«Какая еще девочка?»

«Беленькая, в шортах на лямках, — сказала я и показала на газон перед нами. — Что-то случилось».

И тут началось: сначала как-то странно дернулся детский локоть, как будто невидимая учительница резко потянула ее к себе. Светловолосая девочка упала на траву и стала дергаться в конвульсиях. Другая ладонями закрыла лицо

и отошла на несколько шагов от подружки — это теперь была не она. Маленькое тело билось в ужасных судорогах, как будто вырываясь из земли под собой, во власти непостижимой неврологической ошибки, напоминая всем присутствующим, что мы не что иное, как жалкое скопление несовершенных частичек. Матери побежали к девочкам, каблуками оставляя шрамы на безукоризненном газоне. Все вскочили из-за столиков и смотрели на маленькое существо, которое продолжало судорожно трястись: официанты застыли на своих траекториях, словно пытаясь вспомнить, говорится ли о таких ситуациях в должностных инструкциях; другие посетители встревоженно переглядывались, ожидая от кого-нибудь разумного комментария: должен же кто-то знать, что следует делать. Но мать справлялась с задачей: маленькая женщина, с худыми руками, в неказистом платье с блестками и смешно начесанными волосами, была единственным экспертом, знающим, что происходит, она была напугана сильнее всех и больше всех готова к конвульсиям дочери.

Через некоторое, довольно продолжительное время приступ кончился, девочка лежала на траве, словно просто отдыхая после долгого дня,

проведенного в играх. «Скорая» приехала не сразу, но худшее было уже позади. Мать что-то объясняла двум докторшам, которые утвердительно кивали. Одни за другими, снова пришли в движение официанты и официантки, а публика с соответствующими моменту озабоченными лицами потихоньку вернулась за столики. Вернулись и звуки гармонично спевшихся птиц, которые, казалось, затихли при той ужасной картине. Мы по-прежнему стояли перед нашим столом и смотрели на маленькую группу возле озера. Я вспомнила наш летний отдых на острове и поняла, что Лейла, возможно, была права. Я действительно не готова. Не только к смерти, но и к чему угодно, к любому отступлению от привычного. Такие картины, ужасные сцены, во время которых наша истинная природа показывает себя во всей красе, могли меня только парализовать. В отличие от той матери, ловкой и без капли истеричности, я была совершенно ни на что не годна. Я поняла в молчаливом ужасе, что никогда никого не спасу, никогда не побегу через поляну, чтобы кому-то помочь, не смогу вовремя достать какую-то важную таблетку из сумки, не буду тем человеком в ресторане, кто сумеет применить прием Геймлиха к зады-

хающемуся несчастному. Буду стоять в тупом параличе и смотреть на смерть, смотреть, как она распространяется вокруг меня.

«Бедный ребенок», — сказала Лейла.

«Да, она действительно могла пострадать, — сказала я, по-прежнему растерянная. — Представь себе, вдруг бы она упала в озеро».

«Да не она», — ответила Лейла. Я посмотрела на нее растерянно. Глаза ее были влажными, что стало для меня полной неожиданностью. Я проследила за ее взглядом и поняла, что она имела в виду другого ребенка, в зеленом платье. Рыжеволосая девочка стояла как вкопанная в нескольких шагах от врачей, матерей и своей измученной подружки и плакала что было сил, закрыв лицо маленькими веснушчатыми руками.

[Мои руки устали, время от времени возникают боли, которые ни один из врачей в Дублине — по крайней мере ни один из тех, кого я могла себе позволить, — не мог объяснить. Иногда мне кажется, что я шлепаю по клавиатуре уже десяток лет. Мне кажется, я осуждена на вечное шлепанье. Время от времени мне приходится вставать и потирать ладони — боль, иногда тупая, разливается по суставам, а иногда острая, ощутима

в самых кончиках пальцев. Тогда я держу руки в воздухе над ноутбуком и жду, когда она пройдет. С такими шишковатыми и скрюченными пальцами, с красной кожей, сухой и шелушащейся на суставах, они больше похожи на клешни краба. Ты бы скомандовала мне прекратить нытье, у некоторых людей есть настоящие проблемы. Поэтому я не даю себе больше десяти секунд, чтобы помассировать руки и вернуться к работе.

Мне кажется, я все написала неправильно. Вот клавиши, я могу одним прикосновением вернуться и изменить все, что произошло, я одену тебя в джинсы получше, вставлю тебе зеленые линзы, сделаю живым мертвого Зеца. Но нет, не могу. Я хочу добраться до конца, закрыть ноутбук, помассировать больные руки и выйти из дома. Кроме того, меня пугает изменение направления. Назад означает развернуть машину и вернуться в Боснию. Это бы убило мне всю историю. Поэтому — вперед. Проклятые руки — как два паука. Стоят на месте и пожирают полумертвое мясо. А нужно было только написать тебе какую-нибудь простенькую сцену, отполировать одно-единственное воспоминание. Где-то, где нет твоих светлых волос и не воняют водоросли с то-

го проклятого острова. Один счастливый день. Ты это хотела?

Хорошо. Я не могу вернуться назад, но неважно. Ты просто забудь все, что было до сих пор, О'кей? Начнем сначала.

«Я иду, — сказала ты, — купить белого зайца».

Было слишком рано, даже для той темноты. Появилась трещина, где-то в темнотище, и пропустила слабенький, но все-таки бесспорный солнечный луч. Наш город спал, не подозревая о свете, который его озаряет. Тогда не знала, что это был за восторг, откуда он пришел. Сейчас мне кажется, что в то утро после выпускного мы на мгновение почувствовали мощь протагонизма — нам дали роли главных героев только потому, что все остальные спали. Я говорю героев, потому что героинь тогда не существовало, их скрывали, как постыдную тайну, заталкивали с задранными юбками в углы плохих книг или забывали в заброшенных могилах, как несчастную Сафикаду[7]. Но в тот день, когда тонкий луч солнца на одно утро решил пощадить наш город, мы взяли на себя работу главного героя. Я почувствовала

[7] Сноски: 7

Могила Сафикады — достопримечательность Баня-луки, расположенная возле крепости Кастел. По легенде, там похоронена Сафикада — девушка, покончившая с собой из-за несчастной любви.

это, хотя не знала, что это — ту мощь, которая дает нам возможность сделать что угодно. Все существовало для нас и ради нас: кроны деревьев, из которых слышалась трескотня птиц, ветхие стены крепости Кастел, сломанные ветки, которые несет быстрая река, запахи, которые прокрадывались из только что пробудившихся пекарен, пустые улицы с изуродованными тротуарами — все было нашим.

Ты бежала по середине моста, тонкая джинсовая рубашка буйно развевалась у тебя за спиной, черный «хвост» был как крыло напуганного ворона, а я бежала за тобой, медлительная, раскрасневшаяся, с болью между ног, но все равно счастливая. Мне казалось, что, кроме нас двух, во всем городе никого: мост был пустым, кофейни на замке, маленькие окна закрыты жалюзи. Две сопливые девчонки без гимена, десять марок, засунутые под резинку лосин, и один-единственный солнечный день. Что еще было нам нужно?

Даже когда мы прибежали на рынок, где женщины с румяными лицами распределяли по деревянным ящикам свои дурацкие помидоры и перец, а мужчины раскладывали по хромым прилавкам белье и женские чулки, нам казалось, что они тут из-за нас, что они лишь статисты

в нашей истории.

«Где покупают зайцев?»

«Я тут знаю одного типа», — ответила ты так, как будто мы пришли за кокаином. Мы купили желейных конфет и пластмассовый йо-йо с лицом какого-то футболиста. Я ощущала свою потерянную невинность как только что выученный язык какой-то чужой страны. Неожиданно все вокруг меня: продавцы и продавщицы, бездомные и попрошайки, пекари и цветочницы — стали людьми, которые это делают. Выдало ли меня что-то в походке или то, как я смеялась и играла с йо-йо, дергая лицо несчастного футболиста между грязной землей и горячей ладонью? Что-то во мне хотело, чтобы меня раскрыли, чтобы люди на меня посмотрели и увидели мой опыт, как будто я защитила докторскую, а не раздвинула ноги под каким-то сопляком.

Ты казалась мне такой же, как всегда, взволнованной больше из-за зайца, чем из-за первого секса. Вокруг тебя разливалась аура безучастности, которую я через несколько лет попытаюсь копировать перед молодыми дублинцами в надежде, что благодаря этому они меня, может быть, запомнят. Казалось, у тебя всегда была какая-то миссия: запастись презервативами, купить

зайца, занять заднее место в автобусе, — по сравнению с которой мотивы действий других людей производили впечатление бессмысленных. К таким задачам ты приступала с серьезностью рыночного аналитика, одновременно давая мне понять, что тебе скучно, что это всего лишь еще одно дело, которое необходимо сделать. Через четыре года Заяц будет мертвым, ты — блондинкой, а я с лопатой в руках. Но тогда мы этого еще не знаем, в тот момент зайцы не умирают. Не знаем мы и того, что нам остался всего один год дружбы, что остров ждет нас, как изба колдуньи на лесной опушке. Мы идем к прилавкам с домашними животными, не имея возможности остановиться, оглянуться и вернуться к реке. Потому что все это уже произошло. И Заяц, и смерть, и остров. У нас нет выбора.

В задах рынка, на составленных ящиках от пива сидит господин Кралевич, он поправляет берет на лысой голове. Его безукоризненно отглаженную рубашку с изображениями мелких птиц портят два темных круга под мышками. Он окружен горами клеток, маленьких и больших, деревянных, пластмассовых и металлических, как одуревший бог и повелитель небольшого царства животных. Сидит, положив руки на колени, которые развел

пошире, чтобы высвободить достаточно места для огромного живота. Он морщится и поглядывает вокруг, на других продавцов, как судья, у которого сдали нервы. Он напоминает мне тех людей, кому все мешает, кому мир всегда кажется каким-то невыносимо тесным, и они настолько сосредоточены на себе, на собственном существовании, что уже сами этого не выдерживают. Но в то же время ему, похоже, вовсе не мешает окружающая его какофония: дребезжание колесиков, которые истерически крутятся под мышиными лапками, свист всех клювов, что поют о корме или сексе или о том и другом сразу, хруст, издаваемый резцами, которые грызут зеленые листья салата. Только черепахи тихи. Они напомнили о моей тайне, похороненной под сосной возле нашего дома.

«Та, что звонила насчет кролика?» — спрашивает он тебя, подозрительно рассматривает, как будто не ты, а он — тот, кому что-то продают.

«Да. Белого».

«А-а, белый нужен? У меня есть один пестрый, он прямо так к тебе и просится».

Он сказал это так, что нам сразу стало ясно: Пестрый — худший из всех вариантов. У Пестрого наверняка заячий сифилис или бихевиоральное

отклонение.

«Нужен белый», — отвечаешь ты.

Выпрямившись как троянский герой, ты стоишь и смотришь на вспотевшего продавца не мигая. Под твоим взглядом господин Кралевич скукожился до размеров еще одной маленькой морской свинки среди остальных.

«Все хотят белого, не знаю, что вам так приспичило. Давай посмотри пестрого, увидишь, какой он сладкий».

При этих словах ты разворачиваешься и идешь обратно. Я растеряна, смотрю на него, потом на тебя, а потом подскакиваю, как послушный паж к спесивой королеве, которая только что оскорбила всех присутствующих.

«Да погоди, куда ты! Эй, послушай… — кричит господин Кралевич, а ты останавливаешься. — Что ты такая капризная, что случилось?»

«Господин Кралевич, у меня нет для вас целого утра», — говоришь ему ты. То ли потому что ты его назвала господином или потому что из-за своих прилавков на нас уже посматривало несколько других продавцов, он наконец встал и сделал знак руками, чтобы мы подождали. Повернулся к нам спиной и пробрался между двумя висевшими клеенками в свои закулисные

джунгли. Я посмотрела на тебя удивленно — не ожидала, что дело обернется такой драмой. А ты лишь закрыла глаза, как духовный вождь, и медленно кивнула головой: все под контролем.

Он вышел, неся в руках здоровенный деревянный ящик, полный зайцев.

«А разве можно, чтобы они вот так, все вместе… в одном ящике?» — спросила я, на что господин Кралевич посмотрел на меня оскорбленно.

«Если десять человек могут жить под одной крышей, могут, голубушка, и кролики».

Кролики. Испуганные маленькие мячики. Вонь была невыносимой. Я подумала о людях, загнанных вместе в одну квартиру, о запахе стесненных тел и о сопливых детях, которым забыли сменить памперсы. Меня затошнило.

В ящике сидели три черных кролика, несколько пестрых и два белых. Господин Кралевич вытащил одного и протянул тебе. Ты нежно держала его в своих костлявых руках, как будто держишь живое человеческое сердце. Мне показалось, что в твоих глазах я вижу страх.

«Значит так, — начал Кралевич. — Сено, самое важное, чтобы было сено и всегда — свежая вода, а примерно через месяц можно начать давать салат, капусту».

«Это мальчик или девочка?» — спросила я.

«Какая разница?» — сказала ты.

«Девочка, — ответил господин Кралевич с гордостью молодой матери. — А этот, второй — мальчик».

«Мы назовем тебя…» — сказала ты маленькой испуганной крольчихе, а потом растерянно повернулась ко мне: — Сара, как ее будут звать?»

Я в жизни никогда ничему не давала имя. Мама крестила даже моих черепах — они носили роскошные имена мексиканских телевизионных див. Кассандра, Эсмеральда и Марисоль. Если я выберу плохое имя, то открою тебе правду о своей закоренелой посредственности. С другой стороны, если я откажусь дать зайчихе имя, то продемонстрирую тебе, что не доросла до решения задачи. Тут вдруг послышалось звяканье с прилавка тощего слесаря, того, с ключами, и это отвлекло наше внимание. Несколько яблок покатилось под уклон.

«Что происходит?» — спросила ты, ни к кому конкретно не обращаясь.

Я почувствовала под ногами легкое подрагивание. Я спасена. Вспомнила то, отцовское: «Не бойся, дочка. Это Банялука хочет чихнуть».

«Землетрясение», — сказала я тихо, а улыбка

господина Кралевича заледенела в ужасе.

«Господи, неужели опять», — сказал он голосом умирающего.

Внешнее выражение его внутреннего беспокойства проявилось в том, что живность принялась прыгать и подскакивать: худосочные птицы за ржавыми решетками захлопали крыльями, морские свинки поднялись на тоненькие задние лапки, взволнованно принюхиваясь в поисках ответа, а черепахи, как им и подобает, втянули головы под панцирь. Мы с тобой присели на корточки и спокойно смотрели друг на друга, будто наши взгляды могут пересилить движение тектонической плиты. Больше всего повезло зайцам: из-за того, что ящик остался открытым, они испуганно повыскакивали из вонючего сена и разбежались в разные стороны. Безымянная девочка исчезла из твоих рук — а может, ты ее уронила от страха? Про это я тебя никогда не спрашивала.

В отличие от остальных, которые скрылись среди множества ящиков, убежали вниз, к ручью, или спрятались сзади, за импровизированным занавесом из клеенки, белая зайчиха понеслась по горячему асфальту, разделявшему два ряда прилавков. Она исчезла через несколько секунд,

до того как мы успели дать ей имя. Господин Кралевич, без раздумий бросился за ней, вниз, через рынок, опасно шлепая полуразвалившимися вьетнамками. Его толстый живот прыгал вверх-вниз, будто желая сбежать от собственного владельца.

Землетрясение быстро затихло, а перепуганные продавцы и продавщицы, по крайней мере те, которые были достаточно стары, чтобы помнить шестьдесят девятый год, смогли расслабиться. Привели в порядок перемешавшиеся товары, подвесили на торчащие крючки упаковки с носками и трусами, подняли укатившиеся яблоки и выдали несколько плохих шуток, чтобы замаскировать стыд от проявленного страха.

В ящике остался только один заяц — белый мальчик. Ты смотрела на него задумчиво: почему он не убежал как остальные? Мог теперь быть свободным, а не так — сжался в комок в открытом ящике и ждет толстого тирана. И вдруг ты глянула на меня. Быстро и без слов, но я сразу поняла твою мысль. Кралевич продолжал преследовать удравшую зайчиху, но в любой момент мог вернуться. Времени на раздумья было мало — я схватила маленького зайца обеими руками и засунула его в свою широкую полотняную сум-

ку. Закрыла молнию — дышать он сможет через ажурную розу, вывязанную на одной стороне сумки, — и направилась к выходу. Меня удивило собственное спокойствие: я шла медленно и уверенно, словно раньше уже сто раз воровала животных. Он был спокоен, я чувствовала и его теплое тело, и как он дышит рядом с моим бедром. Я знала, что ты идешь следом, но не хотела оборачиваться. Мне было страшно, что я увижу бегущего за нами запыхавшегося и разъяренного господина Кралевича и его здоровенный живот, похожий на гору трясущегося мяса.

Мы молчали до тех пор, пока не прошли через большие деревянные ворота Кастела и не поднялись наверх, на одну из стен. Там присели на корточки за невысокой сторожевой башней, и я представила себе ловкого воина-османца, который когда-то давно, возможно, с этого же места, смотрел на надменных австрийских солдат, окружавших крепость. Сейчас здесь сидели на корточках две еще не оправившиеся от похмелья выпускницы школы, которые боялись не императорской гвардии, а толстого продавца домашних животных. Ты медленно поднялась и встала на цыпочки, чтобы получше рассмотреть рынок. Ты показалась мне огромной, такая высокая

и прямая между двумя ребрами башни, готовая уничтожить всю Габсбургскую монархию одним взглядом.

Мне хотелось провести весь день наверху, на Кастеле, сидеть на траве с маленьким зайцем, прислонившись к теплым камням, пока ты стоишь и стережешь нас от всех возможных сил внешнего мира. В тот день я тебе кое-что доказала, по крайней мере мне так хотелось думать. Я совершила ради тебя преступление, не поколебавшись ни на мгновение. Более того, я украла не украшения, не какую-то дурацкую майку, которая была в моде этим летом, и не деньги из кармана глупого раззявы. Я украла живое существо. Посадила в свою сумку и застегнула молнию. Теперь ты будешь знать, что я крутая, что я могу все, и что — так же, как и ты, — смело нарушаю границы.

«Он там? Он идет за нами?» — спросила я.

«Да что ты… — ответила ты. — Должно быть, и дальше бежит за остальными животными. Ему и в голову не пришло».

«Бедняга, — сказала я, — остался без зайцев».

«С чего это он бедняга? Это не его зайцы».

«А чьи же?»

«Ничьи, — ответила ты. — Свои».

«И ты думаешь, что они так выживут… разбежавшись по городу?»

«Может, убегут, — сказала ты и улыбнулась. — Они быстрые».

Облака с обкусанными краями неслышно появились на небе. Город пробуждался. Темнота тихо возвращалась в свое кресло. Кусочек солнца, который в тот день обнажился только для нас и нашей криминальной авантюры, теперь отступил через свою щель и оставил нас в полутьме. Я видела маленьких людей, как они быстро шагают по кривым улицам. Видела жалюзи, которые, как веки, открываются на всех зданиях. Видела автомобили, как они осторожно паркуются там, где когда-то стояла Ферхадия[8]. «Ракета, — сказала ты мне когда-то давно, во втором или третьем классе начальной школы, когда мы проходили мимо мечети. — Мой папа один раз сказал, что это ракета. Но это не так, он пошутил, это называется минарет». Я думала об этом, когда мы сидели на Кастеле. Вспомнила я тогда и свой тринадцатый день рождения, тот, на который ты не могла прийти. Я сидела в комнате с несколькими по-

[8] Сноски: 8

Ферхадия, или мечеть Ферхат-паши — памятник османской исламской архитектуры XVI века. В 1993 году была снесена властями Республики Сербской. В 2016 году восстановлена и открыта.

другами из нашего класса и смеялась школьным сплетням, а моя более веселая, чем обычно, мама щелкала фотоаппаратом. Позже я выбросила эти фотографии, испугавшись, что ты их однажды увидишь и узнаешь, что я неплохо развлекалась в твое отсутствие. Через несколько дней после того дня рождения Ферхадия была разрушена. Ракеты действительно взлетели в небо и оставили после себя невзрачные паркинги.

«Он жив?» — спросила ты, садясь рядом на высохшую траву.

Я приоткрыла молнию и заглянула в сумку. В ней по-прежнему дышал пушистый белый мячик.

«Вполне, — ответила я. И тут же спросила: — Как ты его назовешь? — опасаясь, что ты снова навяжешь мне нежелательное кумовство.

«Никак», — сказала ты. — Ему лучше без имени».]

12.

Вена распухла, как тело мертвого животного. Может быть, эта история стала бы лучше, если бы я запомнила ее здания, парки, мосты. Но в тот момент Вена и не была городом, она был однообразным лабиринтом. Где-то в ней был Армин. Все остальное: сверкающие витрины магазинов одежды, чистые автомобили, припаркованные к еще более чистым зданиям, помпезные статуи, с которых какие-то парни в форме счищали птичий помет, — все это было неважно. Более того, было что-то фальшивое во всей этой показной красоте. Как будто кто-то за одну ночь поставил здесь целый город, рассыпал по нему людей и их жизни, разбросал церковки — и все только затем, чтобы он встретил нас таким, бескрайним и напичканным историей, и затруднил наш путь к Армину. Я на каждом углу ждала какой-нибудь логистической ошибки, ждала чего-то, что мне докажет нереальность этого города. Если я зайду в первый же магазин и задам простой вопрос, все развалится. Я ей не верила, этой Вене. Как будто это она отравила тех собак и бросила тело

Озрена Хабдича в ледяную реку. Как будто это она высосала свет из моего города. Думать так было проще — вот он, рядом, этот роскошный виновник, прямо под рукой.

«Где…» — спросила я, когда мы въехали в центр.

«Паркуйся где угодно. Найдем какой-нибудь отель».

«Но разве мы не…»

«Что?»

«Я думала, что мы…»

«Завтра. Сегодня ужинаем и ложимся спать. Мы заслужили».

Мне полегчало, когда она это сказала. Я не была готова видеть Армина. Нет, после той сцены у озера.

Отель Fröhlicher Jäger был маленьким и напичканным чучелами животных. В холле сменяли друг друга шлягеры и шансоны. На стене за стойкой администратора висела фотография какого-то толстого рыжеволосого мужчины, из рук которого свисал гигантский сом. Я предположила, что это хозяин и что это он или кто-то из близких ему людей поубивал всех, чьи головы и рога украшали стены.

Лейла, невзирая на мои протесты, настояла, что за ночлег заплатит она. Мы получили ключ с деревянным привеском — медвежья голова, на оборотной стороне вырезан номер 42. Поднялись по лестнице к маленькой комнате. Внутри все было из поддельного дуба: кровать, комод, стол, рама зеркала. Даже маленький телевизор был втиснут в коробку из похожего материала. Над кроватью висел овальный гобелен — похотливая пастушка с необъятной грудью. У нее было неправильно вышито левое ухо, кто-то взял нитку не того цвета.

«Как бы все это полыхнуло, за две секунды, случись пожар», — сказала Лейла оглядываясь по сторонам.

«Они должны это смазывать каким-то… защитным средством по закону».

«И что, тогда типа не горит?»

«Ну, просто защитить, чтобы не вспыхнуло, как хворост».

Она раскрыла сумку, достала из нее красную зажигалку и зажгла. Высокий язычок пламени заплясал в полумраке комнаты.

«Проверим?»

«Лейла, это не смешно. Погаси».

Она улыбнулась и сунула зажигалку в сум-

ку. Она еще не была сумасшедшей. Настолько сумасшедшей. Потом она сняла кроссовки и бросилась на большую кровать, которая противно заскрипела.

«И откуда вообще у тебя зажигалка? Надеюсь, ты не начала курить?»

«Нет. Просто у меня есть зажигалка. Это один из основных предметов».

«Основных предметов?»

«Да. Для выживания», — ответила она.

Я села рядом с ней и взяла с пола ее сумку. Вытряхнула содержимое на кровать. Лейла не возмущалась. Она перевернулась на живот, чтобы лучше видеть, что я делаю.

«Это и есть основные предметы? — спросила я. — Носовые платки, тампоны, губная помада… Нож. Господи, зачем тебе нож?»

«Чтобы что-нибудь открыть. Или соскоблить. Или убить».

«Четыре, пять… Шесть упаковок с презервативами. Шесть. Одной недостаточно? Планируешь перетрахаться с половиной Вены?»

Она снова повернулась на спину и закрыла глаза.

«Никогда наперед не знаешь, — сказала она. — Во всяком случае, я не планирую умереть от

сифилиса».

«В наше время нельзя умереть от сифилиса».

«Это неизвестно».

Она встала и подошла к своему чемодану. Из кучи скомканной одежды вытащила черное платье и приложила к себе, смотрясь в зеркало.

«Компас. У тебя есть компас», — сказала я, рассматривая маленький металлический прибор на своей ладони. Стрелка вихляла из стороны в сторону как рука пьяницы.

«Боже, я что, в зале суда… А что, собственно, плохого в компасе?»

«Не знаю, в каком времени ты живешь. Сифилис, компас… Тебе не хватает разве что какого-нибудь железного вибратора начала двадцатого века».

«Вибратор мне не нужен, — сказала мне она из зеркала и, подняв над головой обе руки, повертела своими длинными пальцами: — У меня есть они».

«Что ты собираешься делать с этим платьем?» — спросила я.

«У нас в цену включен ужин. Я имею в виду вместе с номером».

«Неужели нам нужны платья, для того чтобы спуститься в ресторан? Ты хоть видела, что это

за место?»

«О'кей, давай тогда будем жить в тренировочных костюмах, и не будем мыться, и пусть у нас ноги будут в волосах, и вернемся в пещеры, и сдохнем в своей естественности, так как тебе не нравится это место».

Часом позже я спустилась в ресторан в сером ситцевом платье. Оно у меня было единственным. Лейла стала звездой ужина в этом неприятном месте. На ней было оверсайз-платье, спадавшее с плеч и болтавшееся вокруг ее худых коленей. Платье должно было только намекать на тело, оставляя достаточное пространство для похотливых взглядов, чтобы вообразить то, что не вполне ясно очерчено. Длинная белая коса с несколькими стратегически выпущенными прядями сверкала рядом с черной синтетикой. Но ресторан был почти пуст — мы слишком поздно спустились ужинать. За столом в углу сидел какой-то старик и дрожащей ложкой доедал свой суп. Кроме него, в ресторане была еще лишь тихая семья. Мать только что закончила есть и смотрела в свою тарелку, как кто-то, кто только что потерял все, играя в покер. Отец резко отламывал хлеб и макал его в ни в чем не повинный суп. А мальчик молчал и размазывал растаявшее

мороженое по стеклянной вазочке. Ссорились ли они из-за него? Мальчик-губка. Однажды что-то надавит на него — и весь яд вытечет. Может быть, брызнет на какого-то нового ребенка с растаявшим мороженым на столе.

Пухлая рука быстро вытерла наш стол. Неоновый свет отражался в фиолетовых ногтях, пока мы с Лейлой комментировали картины на стенах. Официантка улыбнулась и сказала: «Э, не будь мы землячками, я б вас не обслужила. Кухня уже закрыта. Но что-нибудь найдется, не беспокойтесь».

Прежде чем мы успели ответить, настигнутые в венском отеле собственным языком, она достала из кармана фартука маленькие ножницы и повернулась к Лейле: «А у тебе этикетка на спине висит. Так ходить нельзя».

Она не ждала разрешения: взялась за короткую нитку, которая растянулась между ее фиолетовыми ногтями и платьем Лейлы, и быстро отрезала картонную этикетку. Смяла ее и сунула в карман вместе с ножницами. Она как будто чувствовала свою ответственность за внешний вид всех наших женщин в Вене — здесь, в этой прекрасной метрополии, мы не должны позориться этикетками из Боснии.

«Ну, так-то лучше», — сказала она и ладонью расправила платье по спине Лейлы. Вздохнула с облегчением, как будто только что укротила какое-то чудовище. Потом приняла наш заказ, разом превратившись в профессиональную официантку, и тут же исчезла на кухне. Я рассмеялась.

«Что это было?» — спросила я Лейлу.

«То, что теперь я не смогу вернуть платье и получить обратно свои деньги», — ответила она.

Когда наша женщина вернулась из кухни, неся на пластмассовом подносе два больших гамбургера и миску с жареной картошкой, мы снова посерьезнели. Она пожелала нам приятного аппетита по-немецки — то ли хотела похвалиться знанием языка, то ли наказать нас за то, что мы не завели ностальгический разговор о нашей стране.

Мы не заговаривали о том, что нас ждало на следующий день. Часть меня хотела, чтобы мы как можно скорее пошли спать. Я планировала, что надену, что сделаю с волосами, чтобы чем-то напомнить Армину ту давнишнюю девочку, но при этом оставить впечатление зрелости, которую он заметит и сумеет оценить. Однако другая часть меня надеялась, что эта ночь затянется.

Завтра мы будем мы трое, как и в тот день, у них во дворе, когда Армин развязал мои волосы. Сейчас мы были — мы две, в простых платьях, в ночном баре маленького венского отеля. Может быть, поэтому я и согласилась, когда Лейла после ужина предложила переместиться в бар. Я хотела, чтобы мы продлились еще немного.

«Знаешь, — сказала она мне после второго бокала вина, — ты единственный человек на этом свете, которая называет меня Лейлой». Под потолком висел хрустальный шар, бросавший разноцветные отблески на ее голое плечо. По-прежнему звучали шлягеры, совершенно не соответствующие этой темноте, стойке бара и вину.

«Шутишь?»

«Не шучу. Меня зовут Лела уже двадцать лет. Даже больше. Похоже, ты не заметила».

«Твоя мама наверняка не зовет тебя Лелой».

«Да, она зовет меня Лея. Когда я была маленькой, я не умела произносить свое имя. И говорила Лея. Лея хочет пить. Лея хочет писать… Так я и осталась для нее Лея».

«А тебе мешает, что я зову тебя Лейлой?» — спросила я.

Никогда раньше об этом не думала. Я гордилась

тем, как ее называла, как будто только мне одной была доступна какая-то важная тайна ее природы, ее сущности. Сейчас я сидела у стойки в баре, пила темное пиво и понимала, что, когда ей дали новое имя, ей было всего одиннадцать лет. Я попыталась представить себе ребенка одиннадцати лет. Не получилось. Я поняла, что буква «й», которую я упорно добавляла к ее имени, на самом деле служила тому, что я чувствовала себя какой-то особой, другой. И моментально осознала собственную суетность.

«Да называй как хочешь», — сказала она и приподняла бокал.

«Не могу звать тебя Лелой, мне это как-то странно».

«Пока ты решаешь, и Лела, и Лейла сходят пописать», — ответила она и подмигнула мне. Направилась к туалету у другой стены бара, сопровождаемая заинтересованными взглядами деловых людей и грустных парочек за ближайшими столами. Туалет был занят, она прислонилась к стене рядом с входом и помахала мне рукой.

Из большого динамика над холодильником послышались первые такты какой-то песни. Я узнала мелодию, она мне всегда очень нравилась. *Когда отцвел родной вишневый сад, цветы*

роняя на плетень. Откуда этот диск здесь, в Вене? Но тут знакомая песня, причинив мне боль, вывихнулась в моих ушах: я слышала другие слова на чужом языке, мне открывалась истинная природа воспоминания. До сих пор я была уверена, что это *наша* песня. Сейчас мне стало стыдно своего незнания, я посмотрела по сторонам: вдруг кто-то из присутствующих прочел мои мысли? Конечно же, она не наша. По мере того как я слушала куплет за куплетом, мне становилось все очевиднее, что она никогда и не была нашей. *Среди цветов сердца сильней стучат в весенний день*. Нет. Языком, на котором она родилась, был французский; это как если бы женщина, в десять раз более привлекательная, чем я, надела мое любимое платье и всем сразу бы стало очевидно мое несовершенство. Популярные французские шансоны иногда переводили на наш язык, и их перепевали другие исполнители, это я знала. И как я могла быть такой дурой?

Я посмотрела на Лейлу, которая все еще стояла рядом с туалетом и ждала своей очереди. Она тоже слушала песню, но ей в отличие от меня французский нисколько не мешал. Впрочем, слова никогда не были для нее важны. Она повернула голову и задумчиво смотрела перед

собой, едва заметно улыбаясь, будто только что нашла давно потерянную игрушку. «*Ла бранше ден серизье… де сон жардан каресе*», — лилось из динамика. Она была в каком-то другом месте, не в Вене, не рядом с дверью в туалет. Между ней и слащавой мелодией простиралась неуловимая для меня часть истории. На какой-то момент она перестала быть Лейлой. Превратилась всего лишь в девушку, которая окунулась в дорогие ей воспоминания. Мне хотелось пробраться в ее голову и стать соучастником всего, что там запечатлено. Более того: я хотела воспринять эту музыку так же, как она, стать Лейлой, как в те дни, когда я своей ручкой писала ее письменные работы.

Возможно, у меня в голове просто гулял алкоголь, не знаю. Я смотрела на свои руки на столе и хотела вместо своих увидеть ее пальцы, хотела, чтобы ноги у меня вытянулись и стали длиной с ее ноги, чтобы волосы отросли и стали белыми, чтобы у меня была ее грудь и ее ребра под ней и чтобы я такая — новая — слушала эту песню. Я потянулась к ее бокалу и отпила глоток вина. Кислота обожгла горло. Я была фальшивкой. Не справлялась с заданием, хоть и взялась за него. Армин это увидит. Венера из его двора выросла

и превратилась в посредственную, маленькую «Мисс Май» с дешевого календаря на бензоколонке.

Тем временем Лейла, не подозревая о моих возвышенных патетических раздумьях, зашла в туалет и закрыла за собой дверь. Как легко быть ею, подумала я, так спокойно, без усилий. Некоторые люди просто есть и все, без всяких драм. Лейла, или Лела, или Эсмеральда — несущественно. А я? Обычная известняковая гора, возомнившая себя вулканом. Фигляр, имитирующий извержение чувств. Во рту я по-прежнему чувствовала вяжущий вкус того, что пила она. Я никогда не любила вино, настал момент в этом признаться. Я сидела в ночном баре отеля в Вене и рассматривала свои руки. Это были самые обычные руки, какие я когда-нибудь видела. Смотрела на них первый раз в жизни. «*Жекрю мурир дамур пурэль*», — орал француз.

Когда она вышла из туалета, дорогу ей преградил высокий тип в дорогом костюме. У него была одна из тех растрепанных причесок, которые стоят половину моей зарплаты. Мне их не было слышно. Я пыталась пивом смыть терпкий вкус вина. Он держал руки в карманах и что-то ей говорил. Ее плечи тряслись от смеха. Мне хотелось

исчезнуть. Лея. Лейла. Лела. Кто она для него? Песня все продолжалась, унижая меня прекрасным французским.

Лейла похлопала своего загорелого господина по плечу и вернулась к стойке.

«Хочет, чтобы мы прогулялись», — сказала она.

«Кто хочет, чтобы вы прогулялись?»

«Франц Йозеф».

«Франц Йозеф хочет, чтобы вы прогулялись. Кто это Франц Йозеф?»

Она показала подбородком на стол, за которым он сидел, а он приветствовал ее, подняв бокал, из которого торчал помятый маленький зонтик.

«Ты в своем уме?»

«А в чем проблема? Я пойду немного прогуляться с Францем Йозефом. А ты как раз выспишься, ведь ты уже три дня за рулем».

«Лейла, ты не можешь просто так пойти куда-то с каким-то иностранцем. Откуда ты знаешь, кто он? Может, у него где-нибудь подвал с белыми рабынями. Ты об этом подумала?»

«Сара, — сказала она серьезно, — иди спать».

Я хотела что-то добавить, однако она уже взяла со стула сумку и присоединилась к Францу, который ждал ее у двери.

«Не волнуйся. Я ее верну!» — крикнул мне этот

клоун на плохом английском, как будто я на время дала ему свою тетрадку.

Я допила и вино, и пиво. Хотела заплатить, но бармен за стойкой сказал, что *приятель моей приятельницы уже об этом позаботился*. Меня чуть не стошнило. Я оставила ему бессмысленно большие чаевые, чтобы дать понять, что я официально дистанцируюсь от благотворительности Франца Ебаного Йозефа. Взяла сумку и поднялась назад, к номеру 42. Вошла, разулась и легла на просторную кровать. Подушка была совершенно холодной, я понимала, что только-только начинаю пьянеть. «Ich bin Лела, — шепнула я в пустоту. — Ich bin Лея. Ich bin Лили». Я перевернулась на бок и прижала колени к груди. У меня на платье краснело пятно от вина. Как будто той ночью я кого-то прикончила.

«Ich bin Лулу. Ich bin Лала». Рядом со мной, на чистом постельном белье по-прежнему лежал маленький компас. Ich bin Ло. Стрелка компаса бежала от моего тела, будто я токсична. Испуганно подергивалась в направлении холодного Севера.

Утреннее солнце еле заметно отражалось от мебели из поддельного дуба, как чужак, который извиняется, что по ошибке вошел в нашу

комнату. Я проснулась и увидела рядом с собой куст белых волос. Вернулась. Я тихо выбралась из кровати и направилась в сторону ванной. На столике рядом с зеркалом лежала ее «Моторола», губная помада и триста евро.

«Было бы пятьсот, если бы ты к нам присоединилась», — пробормотала она у меня за спиной и глубоко зевнула. Я обернулась и посмотрела на нее. Она передвинулась на середину кровати и разбросала в стороны руки и ноги. Как в тот день у реки. *Gaudeamus igitur.* Пятна от туши для ресниц и румян превратили ее красивое лицо в маску печального паяца.

«Не понимаю, чего бы было пятьсот?»

«Ой, если бы ты его видела, Сара… Сел на пол, на корточки, и хочет, чтобы я его била и орала. *Bad boy! Feri bad boy!* А потом лизал меня полчаса».

Она беззаботно перевернулась на живот и потянулась рукой к упаковке жевательной резинки на ночном столике. Я продолжала смотреть на эти деньги так, будто это умело замаскированное насекомое, которое прыгнет и брызнет на меня своим ядом, если я до него дотронусь. Может быть, Франц подумал, что спал с профессионалкой, и по ошибке оставил ей деньги на кровати, перед тем как пойти принять душ? Или, может

быть, он действительно в тот вечер ангажировал проститутку и только одна я этого не знала? Я не могла ее спросить, да и не хотела. Она оставила меня в баре за стойкой и пошла в кровать с каким-то незнакомцем. Она что-то у меня отняла, у меня и у того дня, когда я должна была увидеть Армина. Нарочно так сделала. Я представляла себе, что все начнется по-другому. Я хотела солнца, и завтрак, и Лейлу без макияжа. Какой-нибудь наивный разговор о прошлом. Но день был пасмурным, как перед дождем, а эти триста евро изгадили и всю его суть.

«Мне сегодня приснился совершенно обалденный сон», — сказала она, весело меняя тему, как будто только что объясняла мне, как печь оладьи, а не как она за триста евро била Франца Йосифа.

«Мне снилось, что я провалилась в унитаз и скатилась из него вниз до самой канализации».

«Ага», — сказала я. Я по-прежнему смотрела на деньги.

«А там были какие-то люди. Ну, в канализации, я имею в виду. Толпа людей. И все отлично развлекались, как будто они на какой-то вечеринке… Такие все, одетые супер, модно, понимаешь? А вокруг нас плавает говно, и всем хоть бы хны».

«Пойду в душ. У нас есть еще полчаса, чтобы позавтракать», — сказала я и направилась в ванную. Закрылась там, села на холодные плитки и уставилась на исцарапанную дверь. Они что, пошли в какой-то другой отель или все время оставались в этом? Понравилось ли ей? После того как мы встретились в Мостаре, мы впервые разделились. Неведение меня мучило больше, чем ревность или соображения морали. Я не знала, что произошло. Я не знала, кто та женщина на кровати. Может, я никогда и не была с ней знакома. Мне хотелось вернуться на ее седьмой день рождения и сказать ей, пока она вызывает духов, что эта уродина, Лела Барун, поменяет ей волосы, и глаза, и все ее существо. Я хотела вернуться к реке, туда, где моя лучшая подруга визжала под каким-то неловким сопляком. Я хотела сказать ей: не беспокойся, придет день, и ты будешь их избивать, за деньги. Я хотела перенестись в самое начало, к бумажным куклам, и сесть рядом с кем-то другим. Не потому, что я ее ненавидела или осуждала, а потому, что чувствовала вину. Та девочка, которая стоит рядом со мной и смотрит на ямку в снегу, на раздавленного воробья, превратилась в кого-то, с кем я незнакома. И я допустила, чтобы с ней это случилось.

Я попыталась встать, но оказалось, что забыла, как пользоваться собственным телом. Попыталась вспомнить, где я и почему я там. Ванная комната в отеле, отель в Вене. Он здесь. История скоро закончится. Забуду все ее имена. Куплю где-нибудь батарейку и позвоню Майклу. Спрошу его, нашел ли он занавески. Что делает наш голый сосед. Закончил ли он ту свою программу. Спрошу даже про авокадо. Это важно. Скажу ему, что Вена просто великолепна, разбухшая, как булка. Сяду в самолет и вернусь в его кровать. Утро будет пахнуть черным чаем с несколькими каплями необезжиренного молока. В мой день рождения никто не вспомнит о Тито. Майкл, цитируя Йоду, скажет мне: «Да пребудет с тобой Сила». Закажем какую-нибудь восточную лапшу, сядем на исцарапанный паркет и будем смотреть сериал. Секс на обеденном столе. Ссора в магазине. Его язык. Его гитара. Его пластинки. Отдохну от себя и от нее.

Прошло много времени. Я не могла встать с пола и открыть кран, чтобы вызвать хотя бы звуки того, что я принимаю душ. Мне было безразлично, что она подумает. Я слышала, как она там, в комнате, роется в своих вещах и брызгает на себя лаком для волос. Она их даже не спря-

тала, эти триста евро. Оставила на столе, как будто гордится ими, как будто выиграла их на деревенской ярмарке стрельбой по плюшевым зверушкам. Может быть, это действительно было недоразумение, может быть, я преувеличиваю. Франц Йосиф — дурак, заплатил за то, что на самом деле было бесплатным. Он выглядел как человек, который любит платить за все, даже когда не нужно, просто для того, чтобы повысить рыночную стоимость окружающих его вещей и людей. Лейла заработала на каком-то тупом буржуе. Еще к тому же и кончила.

«Сара, все о'кей?» — крикнула она с той стороны двери.

«Да-да…»

«Ты ведь не провалилась в унитаз?»

«Да все о'кей, просто меня немного тошнит. Ничего страшного».

«Эх, мать твою, опоздали на завтрак, — сказала она. — Ладно, нестрашно, можем поесть чего-нибудь в городе. Сейчас у нас есть деньги на какой-нибудь фэнси-ресторан».

Я встала и открыла дверь. Она снова была в джинсах и футболке, с большим белым пучком на макушке и в носке на одной ноге. От нее пахло яблоками. Девочка. Взрослые платят ей за то,

что она их наказывает. Меня может и бесплатно, в память о добрых старых днях.

«Не пойду я ни в какой ресторан», — сказала я.

«Ммммм… Ладно… Хочешь, купим где-нибудь сэндвич?»

«Не хочу я никакого сэндвича. Хочу уже наконец…» Слова лежали у меня в голове, как раскаленные кусочки. Я боялась, что они сожгут мне горло, если станут вываливаться наружу.

«О'кей», — сказала она.

«Я думаю, мы сюда приехали из-за…»

«Знаю».

«Я хочу сказать, весь смысл этой поездки был в том…»

«Понимаю, Сара. О'кей».

«О'кей? Что о'кей?» — спросила я. Я пялилась на пол, на ее носок, на облупившийся серебряный лак на пальцах ее ног.

«Одевайся, — сказала она, — пошли».

Было бы обманом сказать, что я не наслаждалась этой нашей прогулкой. Вокруг звучал чужой язык, где-то звонили колокола чужого собора, туристы то и дело пересекали нашу траекторию. Но когда она вдруг побежала вперед, чтобы успеть перейти улицу, я вспомнила черноволосую Лейлу, которая бежит по середине моста в то

прекрасное утро после выпускного. Я вспомнила, как мы когда-то ели снег со школьных ворот и рисовали «классики» разноцветными кусками мела на тротуаре перед нашим домом. Учитель биологии посыпал свой двор крысиным ядом и то и дело высовывался из окна посмотреть на нас, а мы прыгали по неправильным квадратам и номерам. Лейла заступала на линию, что было запрещено, а потом продолжала прыгать как ни в чем не бывало. А я молчала с чувством гордого морального превосходства. Вспомнила и тот выдуманный нами балет, в ее комнате под какую-то песню Дженет Джексон. Мы выскакивали на сцену — пестрый ковер посреди паркетного пола — и отсчитывали шаги, внимательно следя друг за другом, как будто все наше будущее зависит от этого танца. Потом, уже подростками, мы делали вид, что ничего этого не было. Я думала о таких — маленьких, глупых — воспоминаниях и поняла, что мы скоро доберемся до одной-единственной нити, которая продолжает нас связывать, — ее брата. Во время поездки я ни разу не спросила себя, что последует потом, была слишком поглощена тем, что представляла себе эти сцены, воображая взрослого Армина и себя в его глазах. Но сейчас я поняла, что и это прой-

дет, и что, когда мы наконец установим, что он действительно жив, а мы обе все время и так это знали, у нас больше не будет причин когда бы то ни было звонить друг другу. Между нами все закончилось еще на том острове, это я знала очень хорошо. Две задачи, которые она мне доверила после этого — похоронить Зекана и отвезти ее к Армину, — были лишь выражением уважения к нашей общей истории, а вовсе не доказательством дружбы.

Я смотрела на худую женщину с осветленными волосами и спрашивала себя, действительно ли это наш последний день, действительно ли такое возможно. После этого мы останемся без пропавших братьев и мертвых зайцев, придающих нам смысл. Мы наконец отделимся друг от друга, как две тяжелые тектонические плиты, которые всегда тяготели каждая к своей стороне планеты, хотя сами этого не осознавали. Они назывались одним континентом уже несколько тысячелетий. Лейла и я.

Я спросила, не следует ли нам вызвать такси. Она покачала головой: «Это близко, можем пешком. Полчаса, не больше».

Потом она остановилась и подошла ко мне, чтобы вытащить из моих волос листик. Он так

в них запутался, что ей пришлось аккуратно разделить мои кудряшки, чтобы вызволить его из пут. Потом ловкими пальцами поправила мою прическу.

«Какая ты красивая», — сказала она.

«Не говори глупости», — ответила я, на что она закатила глаза. Порвала листик на мелкие кусочки и бросила их на тротуар.

Мы продолжали идти, не спеша. Позади остался кафедральный собор Святого Штефана. Лейла сворачивала в маленькие улицы, глядя под ноги, на булыжную мостовую. Я не мешала ей вести нас. Если кто-нибудь в этом городе и мог отвести меня к Армину, то это была только она. Поэтому я не возражала и когда мне показалось, что все эти улочки были ненужным отступлением от довольно простого маршрута.

«Могу я у тебя кое-что спросить?» — сказала она и снова остановилась.

«Только чтобы мы не опоздали, нехорошо, если ему придется нас ждать».

«Не опоздаем, у нас достаточно времени».

«О'кей… спрашивай».

«Почему ты в то утро украла Зекана?»

Мимо нас прошла группа скандинавских туристов с длинными палками, на концах которых

были прикреплены большие телефоны. Я пригнулась: мне на секунду показалось, что кто-то из них отрубит мне голову. Сфотографировав все божьи врата, и окна, и собственное отражение в них, они исчезли за углом — и мы наконец остались одни.

«То есть как это *почему*? — спросила я. — Ты мне сказала».

«*Я* тебе сказала?»

«О'кей, ну, ты сказала не в смысле *сказала*. Но ты сделала мне знак».

«Знак?» — спросила она потерянно.

«Да ты вспомни. Тот тип… Как его звали?.. Кралевич, да. Он побежал за зайцами, а мы остались с его ящиком. Ну, понимаешь… Ты на меня как-то так посмотрела, не знаю… Подала мне сигнал».

«Сара, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Ты спятила».

Она снова взялась за это. Уродовала то, что я помню. Мы так близки к концу, еще немного — и все закончится. Могла бы оставить мне хоть это воспоминание. Франц Ебаный Bad Boy Йозеф был великодушнее, чем она. Но я не хотела препираться. И продолжала шагать по булыжной мостовой.

«И тот один рассказ, который ты напечатала

в *Литературном… ежемесячнике, голосе…*»

«*Вестнике*, — сказала я. — Я думала, ты не читаешь мои рассказы».

«Тот я прочитала. О человеке с черными волосами со шрамом на лице. Который постоянно ходит по кругу».

«Ну и?» — спросила я, как бы незаинтересованно.

В висках у меня пульсировало так, будто сейчас из них на эти ухоженные фасады брызнет кровь. Неужели она не могла просто заткнуться и привести нас на место встречи?

«Это Армин, ведь так? Тот человек. Рассказ о нем?»

«Это литературный герой. Ты должна бы знать разницу, ты же изучала литературу», — сказала я резче, чем собиралась.

«Значит, ты можешь написать рассказ о моем брате, а обо мне никак. Получается, что ты почему-то предала меня литературно-художественной анафеме…»

«Можно подумать, тебе важно, чтобы я написала что-то о тебе», — сказала я нервно.

А она лишь молча ускорила шаги, не отводя глаз от дороги, и вышла на центральную улицу. Мы прошли мимо какой-то оранжевой церкви,

перед которой она выплюнула жвачку. После нескольких минут быстрой ходьбы в полной тишине мы уперлись в большое здание, перед которым зеленела статуя какого-то всадника. Цвет фасада колебался между светло-розовым и бежевым. Я прищурилась, чтобы прочитать название: «Альбертина».

«Мы пришли», — сказала она.

«Здесь? В музее?»

«Ты идешь или нет?» — спросила она меня холодно и стала подниматься по ступенькам.

А я молча пошла за ней. Вообще-то, в этом не было ничего странного: Армин в музее. Он всегда любил рисовать. Сейчас сидит где-то, в каком-то кабинете, и ждет, когда мы появимся. На нем его любимая одежда. Держит в руке любимую ручку. Борода прикрывает его шрам, но не полностью.

Я шла за ней без вопросов; она решительно двигалась по сложному музейному комплексу. В какой-то момент велела мне подождать, поднялась по широкой лестнице, покрытой красным ковром, и подошла к служащему и что-то спросила. Когда вернулась, сказала, что мы не в том здании, нужно было войти в другое. А я молча кивнула: в этих проходах и поворотах каждый может заблудиться.

Вскоре мы оказались перед дверьми небольшого выставочного зала. Перед тем как войти, она остановилась и посмотрела на меня с беспокойством.

«Знаю, — сказала я, — и мне страшно». Но она лишь слегка коснулась моего плеча, будто хотела убедиться, что ее сопровождает живое существо, и вошла в зал.

Внутри было почти темно. Одна стена была затянута одноцветной темно-зеленой тканью, на которой белыми буквами было написано имя Альбрехта Дюрера. В зале было всего три картины, но несколько человек здесь задержалось, чтобы рассмотреть их; полная низкорослая смотрительница ютилась на слишком маленьком для нее стуле в углу. Я сразу увидела, что никто из этих людей не он.

Лейла ничего не сказала. Она ждала, когда небольшая группа наконец перейдет в следующий зал, чтобы подойти к картинам. Последним, что меня интересовало в тот момент, было изучение произведений искусства, о которых я ничего не знала. Я то и дело бросала взгляд на вход и выход, вздрагивая всякий раз, когда в зал входил мужчина. В какой-то момент я подумала, что действительно вижу его, но тут же убедилась,

что это не так, — я смотрела на нахмуренного подростка, одетого в тонкий черный плащ. Тогда я поняла, что мне нужно успокоиться или хотя бы попытаться нормально выглядеть. Если Армин войдет и увидит нас тут, перед картинами, мне не хотелось бы выглядеть глупо или показаться равнодушной. Я хотела, чтобы он подумал, что я разбираюсь в искусстве.

Картины были маленькими и на первый взгляд обычными. На одной было нарисовано оторванное крыло какой-то птицы с сине-зелеными перьями, другая изображала руки взрослого человека, соединенные в молитве. И только третья привлекла мое внимание. На ней был заяц, под которым стояли инициалы художника и год, 1502. Заяц казался печальным, его взгляд говорил о том, что он уже не в силах негодовать и решил смириться. О'кей, рисуй, если тебе охота. Тщательно выписанные желтовато-коричневые шерстинки Дюрер заставил торчать во все стороны. Мне показалось, что мех зайца чуть заметно шевельнулся, будто он вздохнул. Усталый живой заяц, нарисованный акварелью. Нет, у нее никогда не было зайца. У нее был белый кролик, крошечная жизнь. Мы заблуждались. Передо мной был настоящий заяц, полноценно

принадлежащий к этому виду. Но с картиной было что-то не так, что-то, казалось мне, не имело смысла. И мне не удавалось разгадать, что, сколько бы я ни всматривалась в нее.

Я почувствовала рядом с собой дыхание Лейлы. Ее взгляд терялся в заячьем меху, как будто она смотрела и сквозь акварель, и намного дальше: сквозь стену, на которой она висит.

«Знаешь, — сказала она, — зря я тебя ударила. Тогда, на острове. Не знаю, почему я так сделала, правда».

«Лейла, разве сейчас это важно?»

Я снова оглянулась вокруг, но в зале по-прежнему были те же самые люди. Может, мы пришли слишком рано или он опаздывает? Может, мы не в том зале? Но Лейла выглядела уверенно, не спешила, спокойно стояла перед «Молодым зайцем».

«А я тебе когда-нибудь рассказывала, как он прикоснулся к Дюреру?» — спросила она.

«Да. Но я не понимаю, где…»

«Я была слишком маленькой, — продолжила она, не обращая внимания на меня, — но старики мне рассказывали эту историю тысячу раз».

Я почувствовала, что мои ладони холодеют. Люди вокруг нас превратились в статуи.

«Лейла», — сказала я.

«Армин приподнялся на цыпочки и прикоснулся к картине. Причем по-настоящему — пальцем к холсту. И тут начался настоящий цирк…»

«Лейла, — перебила я ее. — Где он?»

Прежде чем я поняла, что происходит, она подняла указательный палец и прикоснулась к стеклу, под которым не смыкал глаз Дюреров заяц. Не было никакого сигнала тревоги, но один из посетителей возмущенно крикнул: «Эй!» — отчего смотрительница вздрогнула и вскочила со стула почти счастливая, что наконец-то в ее присутствии здесь появился какой-то смысл. Лейла выглядела растерянной, она не ожидала встретить стекло. Она хотела дотронуться до красок, услышать сирену. А тут она увидела фиолетовое лицо разъяренной смотрительницы, которой кто-то из присутствующих, очевидно, объяснял, что произошло. «Мэм, я вынуждена вас попросить отойти от картины», — прошипела она по-английски, направляясь к нам. Лейла глянула на меня лишь один раз. Взгляд ее был усталым, он как будто говорил мне: «Да ладно, забудь, расскажу в другой раз», — а потом она выскочила из зала и исчезла, бегом, вниз по лестнице, хотя никто за ней не гнался. А если бы

и погнался, то напрасно. Может, она и не была сильна в спорте, но бежать могла с невероятной скоростью. Никто никогда еще не бегал так, как Лейла Бегич. Я подумала, что сейчас она уже за пределами музейного комплекса. Она знала, что я не побегу за ней. Не было нужды. В конце концов, нить была разорвана.

Я осталась там, перед зайцем, я не могла шевельнуться. Человек, который крикнул «Эй!», теперь читал присутствующим лекцию о вандализме и терроре в наше время и о новых поколениях, которые не ценят сокровищ. Несчастная смотрительница, потерянно глядя по сторонам, не знала, что делать. Я наврала ей, чтобы она наконец-то успокоилась: «Я тут все время стояла, она не прикоснулась». На что та лишь закатила глаза, вытерла лоб и, качая головой, вернулась на стул.

В зале вскоре опять стало тихо, и его заполнила новая группа посетителей. Люди толкали меня, чтобы получше рассмотреть картины, ворчали себе под нос, что это некультурно, мешать другим, но я по-прежнему стояла там же, как будто мы с зайцем одни во всем музее, во всей Вене. Тело мое вдруг отяжелело. Я чувствовала боль в суставах. Я не была зла. Я не была ничем.

Будь я где угодно в другом месте, то, вероятно, заплакала бы. Это для меня всегда было самым простым способом немного выиграть во времени. Но на этот раз я не смогла, Заяц мне не позволил. Я смотрела на акварель шестнадцатого века так, словно стоит мне отвести от нее взгляд, и я рассыплюсь по полу миллионом молекул. И все увидят, из чего я сделана.

Какая-то женщина возникла в поле моего бокового зрения и сказала по-английски: «Волшебно, не правда ли?»

Я кивнула. Но я понятия не имела, о чем она говорит. Мое третьеразрядное образование не одарило меня нежными сенсорами для восприятия визуального искусства. Я смотрела на акварель из-за совсем другого зайца. Который вообще не был зайцем.

«Ее выставляют, кажется, раз в десять лет, — продолжила она, — настолько она хрупкая и драгоценная». Я никак не могла определить, что у нее за акцент. Она говорила то великолепно, то совершенно неправильно.

«Где она находится в то время?» — спросила я. Собственный голос меня удивил. Он выбрался из меня старым и хриплым.

«В полной темноте, — ответила она, — пока не

заживет». У нее было твердое славянское «т».

«Заживет?»

«Придет в себя после света, влажности...» — объяснила она.

Я молчала и не отрываясь смотрела на картину. Мне по-прежнему что-то мешало, что-то на картине, что-то в ней, раздражало мой мозг, но я не могла решить, что именно. А потом женщина, та, рядом, сказала: «И никто не знает, как ему это удалось. Был ли у него мертвый заяц или он сделал наброски с живого, где-нибудь в лесу, а потом закончил работу в мастерской, с препарированной моделью».

«Он не кажется мне мертвым», — ответила я.

«Абсолютно, — сказала она. — Живее быть не может».

«Но ведь невозможно, чтобы живой заяц стоял спокойно, пока его кто-то рисует».

«Об этом я и говорю», — сказала она.

«И нет леса, — пробормотала я. — Нет леса. Только пустое пространство. Нет, вообще-то, нет. Нет и пространства. Он его извлек из всего и просто... нарисовал. Нарисовал зайца».

«Ты в этом уверена?» — спросила она. Она действовала мне на нервы.

«Видите же, вокруг него ничего нет, — сказала

я. — Пустой холст».

Она достала из сумки четырехугольное стеклышко и протянула его мне. Оно дрожало в ее морщинистой руке. Тут я на нее посмотрела. Лицо меня изумило. Оно было гораздо старее, чем ее звонкий голос, все в мелких морщинках вокруг бледно-голубых глаз. Седые волосы в неказистых завитках облепляли ее высокий лоб. Кого-то она мне напоминала, но я не могла вспомнить кого.

«Посмотри поближе, — сказала она мне, — посмотри ему в глаза».

Я взяла стекло из ее костлявых пальцев. Приблизилась к картине и стала смотреть через маленькую лупу. В стеклистом черном глазу светилось маленькое окно. Дюрер умышленно выдал себя. Действительно ли он держал зайца в своей мастерской? Было ли это отражением настоящего окна или оно тоже было вымышленным? А может быть, только оно и было настоящим, а заяц вокруг него лишь умело представленным воспоминанием? Может быть, это был просто вопрос техники, чтобы сделать взгляд живым? Но нет, подумала я, суть не в этом. Неважно, в каком пространстве находился некий заяц в 1502 году. Пространство было в нем, в этом зайце передо мной, навсегда. Только у нарисованных зайцев

такое есть навсегда. Те, что живые, из крови и мяса, не стоят спокойно на месте.

Женщина рядом со мной меня не торопила, дала мне на него смотреть долго. У меня было чувство, что я исчезаю в этом маленьком заячьем глазу, через этот маленький заячий глаз. Ничего больше вокруг меня не существовало, только темнота и в ней — отражение крохотного окна. Через некоторое время я была уверена, что вижу там Лейлу. Она стояла за окном, с другой стороны, и что-то мне говорила. Нет, на самом деле нет. Это не была Лейла, это не была и Лела, и Лея. Это была ты. Я видела тебя в том окне. Ты что-то хотела мне сказать из середины немой акварели. Ты шевелила губами. Звуков я не слышала, но я их прочитала. Ты сказала: просто я хотела